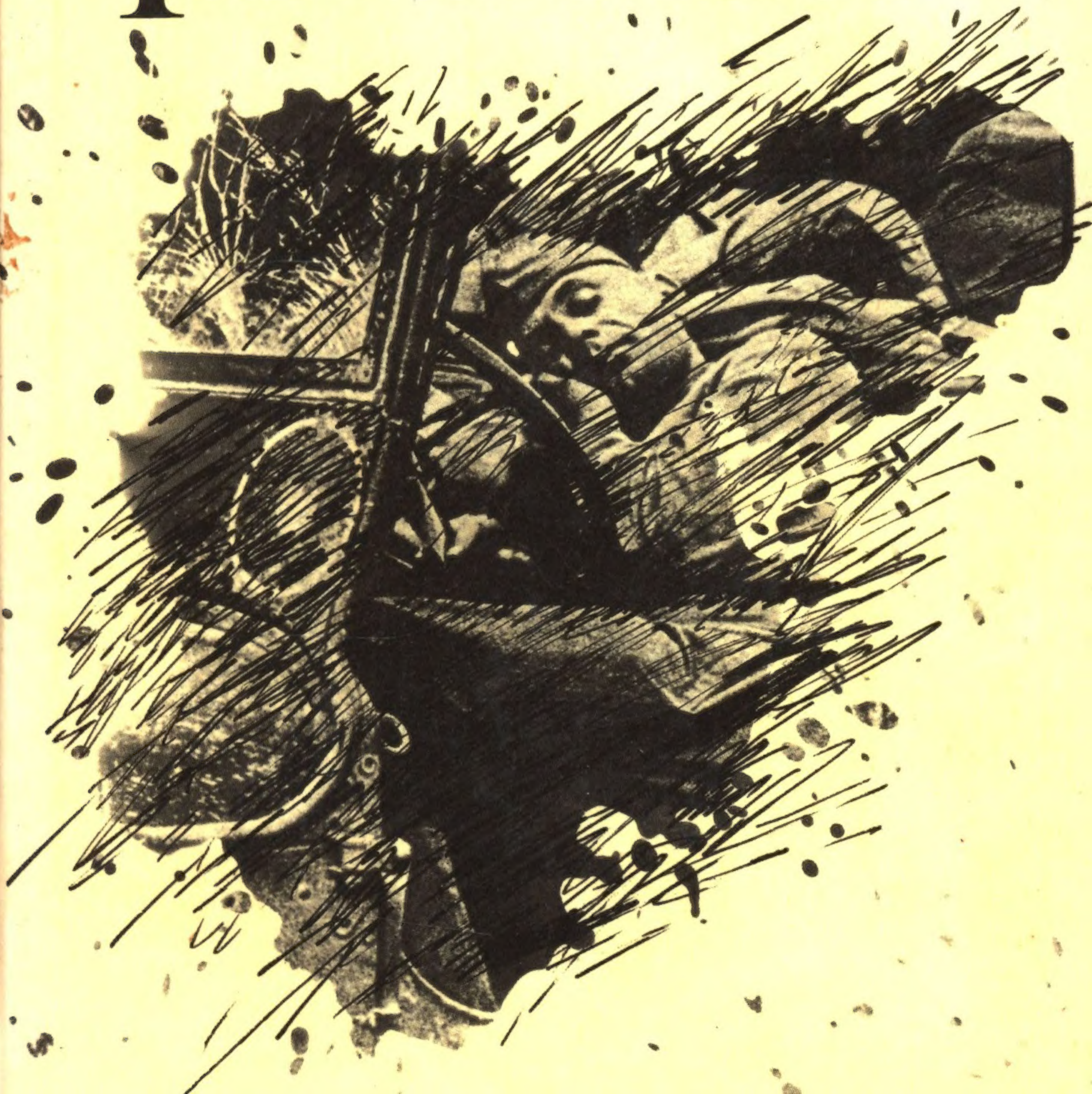


Павел Кодочигов

Так и было









Павел Кодочигов

Так и было

**Документальная
повесть,
рассказы**

**СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1990**

84P7
K 55

Редактор С. В. Марченко

K 4803010201-033 57-90
M158(03)-90

ISBN 5—7529—0300—9

© Средне-Уральское книжное
издательство, 1990.

Так и было



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Оккупация

1. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Гришка сидел на крыльце и строгал палку. Бездельничал, сказала бы мать, если бы застала за таким занятием. А он и на самом деле бездельничал и за нож взялся ради того, чтобы дать рукам хоть какую-то работу. В другое время вырезывал бы на палке квадратики, ромбики, колечки, спираль вниз пустил, потом закоптил палку на костре, убрал оставшуюся кору и получилась бы знатная трость, какую и в магазине не купить. Теперь Гришка просто сдирал кору длинными и тонкими лентами. Разомлевшие от жары куры окружили было хозяина, похватали белые ленточки, но тут же побросали их и разбрелись по двору.

Лицо мальчишки было насуплено, короткий нос недовольно морщился, а успевшая выгореть на летнем солнце голова клонилась вниз. Гришка думал о войне, вспоминал недавний разговор с отцом. «Какие экзамены, какой техникум?» — удивился отец, когда он заикнулся об отъезде в Ленинград. «Ты же сам хотел, чтобы я ехал учиться!» — «Хотел, пока войны не было». — «Что война? Что война? Она скоро кончится, а экзамены не сдам, так целый год пропадет!» — «Когда она кончится, Гриша, пока не знает никто, — хмуро сказал отец. — В этом году вряд ли».

И оказался прав. Наступали почему-то не наши, а фашисты. Быстро прошли Прибалтику, стали захватывать Ленинградскую область. Когда из Старой Руссы начали эвакуировать заводы и учреждения, решила уходить от фашистов и Гришкина деревня. Снялась вся, но ушла недалеко: навстречу сплошным потоком шли войска и колхозникам приказали освободить дорогу. Свернули в лес, целый день смотрели на колонны военных, на пушки, машины, мотоциклы, даже танкетки и засомневались: надо ли бежать, если фашистов вот-вот погонят обратно? А их погонят: сам Ворошилов обещал в случае чего сокрушить врага малой кровью, могучим ударом, воевать на его, а не на своей земле. «Не видать им красавицы Волги и не пить им из Волги воды», — вещала обнадеживающая всех песня.

Вернулись.

А через несколько дней отец, разглаживая каждую складку, долго наворачивал портянки, потом натянул сапоги, потопал, проверяя, хорошо ли устроились в них ноги, и объявил, что уходит в армию. Мать, подозрительно поглядывавшая на него, заголосила: «Чего надумал? Чего надумал! У меня седьмой шевелиться начал... — Повисла на шее отца и заголосила еще громче: — Не отпущу! Никуда не отпущу!» — «Повестка же пришла — красненькая!» — урезонил ее отец. Мать ахнула, прикусила на миг язык и заговорила по-другому: «Филипп, скажи, что ты больной и старый, может, отпустят? Скажи, что ты в германскую в окопах насиделся и газов нанюхался, в гражданскую воевал. Должны же понимать, люди же там!» — «Ладно, скажу, а ты собери побольше еды на дорогу — когда еще на довольствие поставят».

Мать продолжала всхлипывать, но через полчаса отец был накормлен и собран. «Теперь садитесь! Все, все садитесь!» — приказала мать.

Сидели долго. Молчали. Первым поднялся отец, об-

нял и расцеловал мать, сестренку, братишку Мишу. Его, Гришку, позвал с собой.

Он проводил отца до дороги на Парфино, куда переехал старорусский военкомат. Там отец остановился: «Слушайся мать и береги младших. За меня остаешься, понял?»

Он пошмыгал носом, хотел сказать на прощание что-нибудь хорошее, но не сумел — перехватило горло.

И сейчас сжало, он словно бы ощутил на своей голове тяжелую и теплую отцовскую руку.

Скоро мимо деревни потянулись бесчисленные стада скота. Из западных районов области угоняли коров, лошадей, овец, свиней, даже гусей. От восхода до заката солнца клубилась по дорогам пыль, мычали недоенные коровы, блеяли овцы. Застигнутые в пути темнотой стада ночевали в колхозных загонах. Гонщики шли в деревню, просили женщин подоить коров хоть в подойники, хоть на землю. На землю чаще всего и сдаивали — коров в деревне хватало своих.

Скот фашисты бомбили и обстреливали так же, как и людей. Раненых животных приходилось забивать, и опять беда — что делать с мясом?

День и ночь, почему-то на двуколках, везли раненых, черных от пыли, с искусанными в кровь губами, с тошккой и болью в запавших глазах. Их отпаивали молоком и квасом, совали на дорогу лепешки и пироги, масло и сметану и провожали жалостливыми глазами. Когда потоки беженцев, раненых и скота иссякли, а фронт подошел совсем близко, Валышево снялась снова и добралась на этот раз почти до Рамушево, большой деревни на берегу реки Ловать. Чтобы не переправляться через нее в потемках, в ближайшем лесу остановились на ночлег и чувствовали себя в нем вольготно: допоздна жгли костры и жарили пищу, а проснулись от частой стрельбы пушек. Председатель колхоза Никифор Степанович Степанов позвал его, Гришку, пойти посмотреть, кто и по-

чему так сильно пуляет? Он не шевельнулся — вдруг фашисты, вдруг они убьют и его и деда Никифора, как с малых лет привык звать председателя колхоза. «Боишься?» — подзадорил тот. «Никого я не боюсь! Вот еще! — задиристо начал он, но тут же и признался: — Боюсь, но не сильно. Пойдем давай».

Лес был темным и холодным. Поеживаясь от утренней свежести, Гришка опасливо озирался по сторонам и злился, что стрельба мешала слушать. Фашисты могли притаиться за любым деревом, выскочить, схватить.

Старый, с большой, окладистой, наполовину седой бородой, широкий в кости и плечах дед Никифор шел уверенно. Руки сжаты в кулаки, а они у него каждый двум его, Гришкиным, равен. Незаметно для себя и он стал смелее, хотел даже прошмыгнуть вперед, но председатель ухватил за плечо — не торопись!

Прошли еще с километр. Лес стал редеть и кудрявиться. В нем начало что-то посвистывать. Ветра не было, но над головой вдруг треснула и закачалась на остатке коры ветка. Снова стало страшно и от приблившейся и потому ставшей громкой стрельбы, и от непонимания происходящего. Кто и как мог сломать ветку? Председатель озадаченно посмотрел на дерево, но ничего не сказал.

Дальше оба шли через силу.

Выйдя к опушке, увидели танки с белыми крестами на бортах. Они перерезали дорогу на Рамушево и стреляли то ли по деревне, то ли по переправе через Ловать. Наши строчили по ним из пулеметов. Председатель тяжело охнул и пошел назад...

Около недели прошло со дня второго возвращения, и каждый новый день казался длиннее и опаснее предыдущего. Газеты писали, что фашисты сжигают деревни, издеваются над жителями, а то и расстреливают их, отбирают и увозят в Германию скот. В ожидании их прихода ни за что не хотелось браться, люди стали нервны-

ми и беспокойными. Гришке казалось, что они заранее гнули головы и спины, а фронт растекался каким-то непостижимым образом: почти непрерывно гремело на востоке, где должны быть свои, отдаленная стрельба слышалась с севера, от Старой Руссы, особенно сильная канонада доносилась с юга, откуда-то из Белебеловского района. По вечерам небо вокруг, облака на нем зловеще краснели. Отсветы пожаров держались до утра. В какое-то странное окружение попала Гришкина деревня и соседние с нею, не нужны оказались ни своим, ни немцам. Ивановское, правда, чем-то помешало фашистам. На днях прилетели самолеты, выстроились в круг и начали бросаться один за другим на деревню. Все мальчишки мигом оказались на крышах. Оттуда хорошо было видно, как в Ивановском высоко в небо взлетали бревна и доски, целые кучи земли вместе с росшими на ней кустами и деревьями.

Даже такая неблизкая бомбежка перепугала и старых и малых. Разговоры о ней тянулись до вечера и закончились решением на день уходить в овраг — сегодня на Ивановском бомбы побросали, завтра и за Валышево могут приняться.

Овраг начинался при въезде в деревню, почти напротив Гришкиного дома. Два неглубоких отростка уходили от него влево, к Старорусскому шоссе и скотному двору, а сам овраг, изгибаясь дугой, углубляясь и расширяясь, обрастая новыми ответвлениями, черемухой, ольхой и осиной, держал направление на окраину Ивановского. Примерно посредине оврага валышевцы и устроили дневное пристанище. В деревне оставались лишь те, у кого были неотложные дела, и дежурные в обеих ее концах. Гришка дежурил. Шоссе и дорога от него в деревню были хорошо видны с крыльца и пустынно. Делать было нечего, и он строгал палку.

День выдался тихим и прозрачным. Ни один лист не колыхался на деревьях, ни один самолет не пролетал.

На всем необъятном голубом небе неподвижно висело одно-единственное белое облачко.

На ноги мальчишку поднял шум приближающейся машины. От Старой Руссы по шоссе впервые за много дней шла полупортка ГАЗ-АА. В ее кузове сидели люди. «Красноармейцы!» — обрадовался парнишка, увидев поблескивающие штыки и каски, и побежал навстречу: вдруг красноармейцам что-то спросить надо, вдруг они какое-нибудь распоряжение везут? Может, освободили Старую Руссу, может, и не захватывали ее фашисты? И все рухнуло, померкло, когда разглядел непривычные глазу глубокие каски и широкие ножевые штыки. В страхе попятился и, сдерживая рвущийся из груди вопль, понесся назад. В овраг бы нырнуть или через двор в огород выбежать и куда-нибудь подальше нестись, но не подумал об этом, под защиту родных стен кинулся. В комнате подскочил к окну, пряча лицо в листьях герани, выглянул на улицу, беззвучно запричитал: «Проезжайте! Проезжайте! Не останавливайтесь!» Но полупортка затормозила напротив дома, из нее попрыгали на землю какие-то все серые, похожие друг на друга фашисты и направились во двор. Чужой и громкий говор услышал мальчишка, всплески автоматных очередей, оглушительные по сравнению с ними хлопки винтовочных выстрелов. Ошалело закудахтали, заносились по двору, пытались вылететь на улицу, перепуганные куры.

В деревне никогда не стреляли домашнюю птицу из ружей — такой человек до конца жизни дурачком бы прослыл, — и стрельба по курам до того озадачила парнишку, что он на какое-то время забыл о собственной безопасности. Вспомнил о ней, когда от стены отлетела вырванная пулей длинная щепка, упала на край стола, качнулась и соскользнула на пол. Он зачем-то подобрал ее, в два прыжка заскочил на печь, натянул на себя старенький колушок и замер, ощущая, как противный, познабливающий страх разливается по всему телу.

Предсмертное кudahтанье какой-то курицы оборвалось почти человеческим стоном. Немцы заколготили, голоса их стали удаляться, но еще не стихли, как началась стрельба во дворе соседнего дома, где одиноко жила веселая и грузная Мария, по прозвищу Пушкареха.

Гришка откинул с головы козушок, перевел дыхание, но оказалось, что немцы ушли не все. Двое вошли в дом, что-то громко спросили. Он не отозвался. Скрипнула скамейка, с которой забирались на печь, жесткая рука схватила мальчишку за босую ногу и стащила вниз.

Один фашист, глядя на него, смеялся, второй, что стянул с печи, достал маленькую книжечку и стал медленно, запинаясь и путаясь, читать какие-то слова. Они были похожи на русские, но мальчишка не мог понять, что от него хотят. Стоял перед немцами, таращил на них глаза и молчал. Веселый немец, подмигнув ему, рывком притянул к себе, повернул и дал такого пинка, что Гришка пролетел через всю комнату в самый дальний ее угол.

Немцы нашли и забрали две буханки хлеба, корзину яиц, большой кусок сала. Сметану выпили из кринки и ушли.

Гришка потерял ушибленное место, пощупал шишку на лбу и уткнулся головой в угол. Отец не бил ни его, ни сестренку. От матери доставалось. Чуть что не так, хлестала для послушания всем, что попадется под руку, от ребят тоже попадало, но никогда мальчишке не было так горько и обидно и никогда он не плакал так, как сейчас. Всхлипывая, давясь слезами, угнетаясь своей беспомощностью, он сидел на полу, а в глазах все еще стояли немцы, их глубокие и широкие каски, их черные автоматы, непривычные френчи, широкие голенища сапог, кинжалы на поясах, какие-то сумки за плечами, слышался чужой говор, смех, чавканье.

Поднялся не скоро, поддернул старенькие, давно ставшие короткими штаны, одернул синюю, выгоревшую на

солнце сатиновую рубашку и, тихо ступая босыми ногами, пошел к двери. На дворе летали перья, опускались в лужи крови, застревали в них и, уже окровавленные, словно живые, трепетали на ветру.

Стрельба не смолкала — немцы продолжали выбивать кур в дальнем конце деревни.

Он выглянул на улицу. На ней, как снег, тоже кружились перья. Пригнув голову, Гришка перебежал дорогу и понесся в овраг, к матери, к людям.

2. ОДИН В ДЕРЕВНЕ

Приезд фашистов в Валышево не был неожиданным — рано или поздно они должны были появиться, — однако такого разбоя не ожидали.

— Ироды какие-то, а не люди, прости меня, господи, — кричала мать. — Из двадцати курей одна серенькая осталась, и та с перебитым крылом. Скачи в район, Никифор, — наседала на председателя. — Жаловаться надо, а то сегодня кур, а завтра коров и свиней поубивают.

— Что мелешь, Мария? — тускло отвечал председатель. — Мне теперь и на тебя пожаловаться некому, не то что на немцев. Куры что, могли и нас всех на тот свет отправить. Об этом не подумала?

Мать и другие крикуньи притихли: все и на самом деле могло закончиться гораздо хуже. Деревню, слава богу, не сожгли, скот не тронули и Гришку не убили, «поджопника» только, как он говорил, дали. Одна Пушкареха стояла на своем:

— Будем в овраге сидеть, так и из домов все утащат, а при хозяевах не тронут. За свое и постоять можно. Домой надо возвращаться, Никифор. Были бы в деревне, так столько птицы не поубивали...

Председатель поскреб крепкий, поросший седыми волосами затылок и сплюнул:

— Не знаю, бабоньки, что и лучше. Все так перевернулось, что ума не приложу. К Ивановым нонче пуля влетела? Влетела. А что было бы, если бы мы все в деревне сидели?

Опять галдеж пошел. Одни приняли сторону председателя, другие, их было большинство, поддерживали Пушкиху, однако, посчитав пробоины от пуль, разглядев, сколько кровавых пятен осталось на подворьях, утром снова потащились в овраг. Кроме Гришки, никто немцев близко не видел, но все вели себя беспокойно, разговаривали едва ли не шепотом, даже самые маленькие. Они не плакали и не играли, а все время, вопросительно заглядывая в глаза, жались к матерям — состояние тревоги, ожидания чего-то непонятного и страшного передавалось и им.

Второй раз фашисты приехали во время дежурства Пушкихихи.

На этот раз стрельба в деревне была недолгой. Фашисты добились оставшуюся птицу, и до оврага донеслись визг и хрюканье свиней. Забравшийся на дерево Вовка Сорокин крикнул:

— Свиней, свиней угоняют!

— И поросят!

Эта весть ошеломила. В овраге стало тихо. Шелест ветвей только слышался — мальчишки, как один, полезли на деревья.

— Повернули к Старой Руссе.

— Ушли — не видно больше! — известили сверху.

И людей будто кто кнутом подхлестнул. Побежали к домам: вдруг у кого-то остались свинья или поросенок? Разбежались по своим хозяйствам, но скоро без зова собрались у правления колхоза. Председатель оглядел хмурые лица и подвел итог:

— Та-а-ак, чисто сработали. Мастера, так их перетак!

Женщины молчали, не зная, что сказать на это, пока старая Мотаиха, не расстававшаяся с телогрейкой и ле-

том, не вспомнила о Пушкарихе: почему ее не видно, не забрали ли немцы и ее с собой?

— Ой, и правда, где она? — спросила мать и, не дожидаясь ответа, побежала к дому соседки.

Жена председателя Ольга Васильевна, мать Гришутки Кровушкина, Мотаиха, Савиха и другие женщины в сопровождении кучи ребятишек поспешили за ней.

Пушарики во дворе не было. Не оказалось ее и в доме. Пока судили-рядили о том, куда она могла запропасться, откуда-то снизу, будто из-под земли, раздался слабый голос:

— По-мо-ги-те-е! Под крыльцом я.

Видно, слышала Пушкариха, что о ней говорили, только сразу отозваться не могла, но, час от часу не легче, под крыльцо-то она зачем забралась? С трудом — за какое место ни возмись, кричит — вытащили и заморгали: лицо — сплошной синяк и ни одного живого места на руках и на спине. Случалось, в деревне подерутся парни и даже мужики, как без этого: муж жену поколотит, если перепьет; а то и жена мужу чем-нибудь ребра пересчитает, но чтобы так избить пожилого человека? Не было такого!

По слову, а то сразу и по два, Пушкариха рассказала, что с ней произошло. Когда фашисты начали выгонять свиней со дворов и сбивать в кучу, она не захотела отдавать своего боровка, схватила палку и заступила дорогу грабителям. За это ее той же палкой да прикладами загнали под крыльцо и стали там травить, как собаку.

Мать, никогда не упускавшая случая в глаза и за глаза поругать соседку, на худой конец, поперечить ей опустилась на колени, стала гладить по голове и успокаивать:

— Ты потерпи, Мария. Мы тебя обмоем, травкой обложим, и, дай бог, поправишься скоренько, — подняла голову, увидела сына и нашла ему дело: — Беги нарви по-

дорожника побольше, а вы,— шумнула на дочерей и других ребятишек,— марш по домам! Нечего тут глазеть!

Избитую подняли, осторожно занесли в дом и по примеру матери тоже стали почему-то звать не Пушкарехой, а Марией. Обмыли раны, обложили их подорожником, перевязали. Небольшая заминка вышла, когда хотели больную оставить в доме.

— Не хочу здесь! Отнесите в овраг! — вскричала Пушкареха.

Мать вскинула голову, хотела было отчитать перекорную, но неожиданно для себя согласилась с ней:

— Дело говоришь, Мария. И мы нынче останемся в овраге, и нам здесь сна не будет.

Занятая хлопотами, об угнанных свинье и поросенке мать вспомнила лишь в овраге и отвела душу. Досталось и солдатам, и их матерям, и бабушкам вместе с прабабушками, и всей фашистской нечисти во главе с их окаянным Гитлером. Мать покричать любила, и, если на нее накатывало, остановить ее было невозможно. Тихий и молчаливый отец в таких случаях показывал матери спину.

И Гришка показал. До вечера прокупался с приятелями на Полисти. Там решили ночевать в деревне. Одни! Без родителей! Но когда дошло до дела, Вовка Сорокин сказал, что его мать не отпускает, Колька и Петька Павловы сами расхотели, а Ванька Федотов сказал Гришке, чтобы и он не ходил.

— Это почему?

— Так страшно же будет в пустой деревне!

— Договаривались же!

— Мало ли что договаривались. Мы уже передоговорились — никто не пойдет,— Ванька ехидно прищурился: — И ты — тоже. Слабо одному!

Не скажи Ванька «слабо», он бы остался, но раз так... По оврагу шел бодро, а поднялся наверх — и шаг замедлил, даже постоял и поразглядывал улицу, будто шел

не в свой, а в чужой дом. Пугали черные глазницы окон, полная темнота в деревне и во всей округе. И тишина. В доме всегда были маленькие. Они кричали и плакали по ночам, слышалось дыхание спящих, кто-нибудь ворочался, всхлипывал во сне, выходил во двор. Гришка никогда не думал, как все это важно и необходимо для душевного спокойствия. Сознание, что он один в доме, во всей деревне, угнетало, все чудилось, будто кто-то таится неподалеку, дышит, что-то замышляет против него.

Гришка то выглядывал в окна, то шел в сени — проверить, хорошо ли закрыты двери. Постояв там, возвращался и снова долго не сводил глаз с пустой улицы. Половицы почему-то громко скрипели даже тогда, когда он шел на цыпочках, даже когда не двигался. Подмывало убежать в овраг, но не хотел показывать себя трусом. Нет, он останется здесь до утра, и будь что будет! Вспомнил о топоре в сенях, сходил за ним, засунул старый, зазубренный колун под подушку, обхватил гладкое, отполированное руками отца топорище и затих.

Два года назад Гришка с ребятами переплыл на другой берег Полисти, а сестренка Нина осталась на своем, деревенском, где было совсем неглубоко. Он не боялся за нее, загорал с друзьями, валяясь на траве, и вдруг услышал испуганный крик девчонок: «Гришка! Гришка! Нинка утонула!» Бросился в воду, переплыл реку, осмотрелся — Нины не было. «Вот тут она утонула! Вот тут!» — показывали то на одно место, то на другое подружки Нины. Стал нырять. Нашел, вытащил на берег, даже искусственное дыхание сделал. Жива осталась сестренка, слышать только плохо стала. После этого ему долго снился один и тот же сон: снова тонула Нина, он нырял за ней и не находил, нырял снова, захлебывался, тонул сам.

В эту ночь сон приснился еще страшнее. Не Пушкариху, а его загнали фашисты под крыльцо. Он раза в два меньше Марии, и вначале, не доставая его, палка

тыкалась впустую, потом вытянулась, нащупала голову и прижала к стене. Он стал ее отталкивать. Фашисты дернули палку на себя — десятки заноз впились в ладони. «Не бунтуй — хуже будет!» — кричали фашисты на русском языке и хохотали. Палка, пошарив, уперлась в висок и стала давить, давить. «Проткнут голову, проткнут!» — мелькнула страшная мысль, и он проснулся.

Сердце билось короткими перепуганными толчками, висок упирался во что-то твердое. Пощупал — обух топора. Догадался, что подушку во сне столкнул на пол. «Во распсихопатился!» — ругнулся мальчишка, с трудом приходя в себя.

На дворе занимался новый день, но было еще темно. Лезть за подушкой не хотелось. Он подтянул под голову рукав кожушка, чтобы поспать еще, и уже засыпал, как со двора донеслись какие-то непонятные звуки. Там не то стонал кто-то, не то ругался. Прислушался. Показалось, что непонятные звуки походили на то, как уркала свинья Зинка. Гришка протер глаза — не спит. Еще послушал, схватил топор и пошел во двор. Там снова пришлось протереть глаза — Зинка лежала на своем месте. Увидев хозяина, повернула к нему голову, но не поднялась — ноги свиньи были разбиты в кровь.

В овраг парнишка летел быстрее пули. Мать застал на ногах. Она стирала белье. Ей помогала старшая сестра, светловолосая, тоненькая Настя.

— Мамка, наша Зинка вернулась! — выпалил Гришка.

Мать и Настя недоверчиво уставились на него.

— Что мелешь, пустобрех окаянный, прости меня, господи? — роняя в таз мокрую тряпку, отозвалась наконец мать. — Отпустили ее, что ли?

— Не знаю... Сбежала, наверно, — ответил он и добавил: — Не веришь, так иди посмотри, а не обзывайся

Мать всплеснула руками:

— У, гаденыш! Слова ему сказать нельзя!

Принесенная Гришкой новость ошеломила. Все, кто

услышал о случившемся, перегоняя друг друга, побежали домой с надеждой, что и их свиньи на месте. Не могла же одна Зинка убежать, видно, что-то случилось у фашистов, бросили они животных в пути, не до них стало. Не сбылось. Одной Зинке удалось каким-то чудом убежать и найти дорогу домой.

— Вот же разумная скотина какая! — удивлялась мать. — Но не вылечить ее нам, забивать придется, а, Гришка?

— Сразу и забивать! Я ее подниму.

— Тоже мне ветеринар нашелся!

Он стоял на своем, и мать после долгого спора согласилась, однако через три дня пошла в Ивановское, где жил знакомый бойщик. Вернулась скоро, вся запаренная, будто кто гнался за ней:

— Ой, люди добрые, чего я натерпелась, чего натерпелась! Считайте, на том свете побывала! Только, значит, из оврага поднялась и пошла кустами, человек вдруг, как из преисподней, передо мной появился. Одежда на нем ни на что не похожая, зеленая какая-то и вся в пятнах. Чисто водяной из болота! На голове к чему-то мешок повязан, в руках ружье, короткое вот такое, а ствол с пятак толщиной, если не больше. Глянула я на него, и душа в пятки ускакала. А он по-русски: «Здравствуйте! Куда путь держите и зачем?».

Мать перевела дыхание, заправила под платок выбившуюся прядь мокрых волос и снова зачастила:

— Я не знаю, что и отвечать, по сторонам зыркаю, а там такие же, как этот, пятнистые. Ну, думаю, в окружение попала и что теперь будет? А этот, что дорогу загородил, говорит: «Вы не бойтесь, мамаша. Мы свои». Брежет как сивый мерин и улыбается. И такое меня тут зло взяло! Какие же, говорю, вы свои, коли одежда на вас иностранная? За дурочку меня принимаете? Они засмеялись: «Вот дает бабка! Да свои мы, свои, разведчики в маскировочных костюмах».

Оглядела я этих разведчиков еще раз — лица вроде бы наши. Смотрят на меня по-хорошему. Улыбаются. Попросила для верности других хоть что-то сказать по-русски, и — вот, бабы, штука какая — на своих ведь я напоролась! Расспросили они меня о немцах, как ведут себя, часто ли наезжают, и говорят: «Завтра освободим ваше Валышево, но вы поберегитесь, когда бой начнется». Я им: «Какой бой? Какой бой, когда у нас ни одного немца нет?». Они говорят: «Придут. Не отдадут же они вашу деревню за просто так». Ну и шут с ними, пусть воюют. Главное-то в другом — кончилось немецкое время! Некому теперь будет кур убивать, месяца паразиты не продержались — ни дна бы им, ни покрывки!..

Все это мать выговорила без перерыва, на одном дыхании и с такой убежденностью, что не поверить ей было невозможно, однако весть была такой неожиданной, что столпившиеся вокруг матери люди пришли в себя не сразу. В последние дни бои стали слышнее, но шли они еще где-то далеко, и потому не верилось, что разведчики ходят совсем рядом и освобождение наступит завтра. Однако Гришкина мать никогда во вранье замечена не была и шутить не умела. Тогда что же? Все верно! Завтра свои придут? Что тут началось! И смех и плач! Маленькие настоящий цирк устроили, на головах готовы ходить, а взрослые лишь посмеивались — свобода пришла, пусть побесятся. Лица у всех светлыми стали, беспечальными. Мать обвела собравшихся вокруг нее людей совсем счастливыми глазами:

— Кур постреляли, поросенка увели, а свинья и корова остались. Проживем как-нибудь зиму, а летом война проклятая, поди, и кончится.

— Ты же колоть Зинку собиралась, — напомнила ей вездесущая Мотаиха.

— Мало ли что я раньше хотела. Теперь-то зачем? Ветеринары снова появятся, вылечат.

3. БОМБЕЖКА

И другие так думали, но кто знает, какой бой случится и какие дома после него уцелеют? Засуетилась деревня. Все самое ценное и необходимое люди потащили в овраг: зимние вещи, запасы пищи. Угомонились под утро, когда в домах одни кровати да столы остались. А красноармейцы пришли в Валышево без единого выстрела. Вначале их было немного, но скоро Валышево заполнили машины, пушки, повозки. Бойцы стали маскировать технику, окапываться. Одну машину загнали в Алешкино гумно, которое стояло за дальним от Гришкиного дома концом деревни. Колхозники, пока еще на легке, тоже поспешили к домам, чтобы и с бойцами поговорить, и жильё свое побереечь, но командиры сказали председателю, чтобы уводил людей в овраг.

Дед Никифор похмыкал, но возражать не посмел. За него это сделали женщины. Им все равно, с кем разговаривать, с большим командиром или с рядовым бойцом. Мать Гришки вперед председателя заступила и начала:

— Пока немцев нет, вперед бы идти, а вы отдых устроили. Окопы? Одного красноармейца оставьте показать, где рыть надо,— мы вам этих окопов, сколь надо, накопаем.

Ее поддержала мать Ваньки Федотова:

— Вы бой подальше от нас начинайте, на поляшке, где домов нет.

— А и правда,— подала плачущий голос бабка Мотаиха,— почто вы тут в землю зарываетесь? Мы и так от германцев пострадали: курей у нас перебили, свиней угнали.

О самом больном напомнила Мотаиха, и сразу такой шум-бор разгорелся, что хоть убегай, хоть уши затыкай,— все о своих бедах заговорили, и каждая другую перекричать старалась. Дед Никифор стоял в сторонке,

посмеивался в усы, бороду свою довольно разглаживал, но когда почувствовал, что женщины в залпе лишнее наговорить могут и как бы им за это отвечать не пришлось, гаркнул:

— Хватит, бабы! Не на собрании. Военные лучше знают, где им останавливаться и как воевать. Хватит, я вам сказал!

Он произнес это таким тоном, каким до оккупации разговаривал. Женщины вспомнили, что пришла свобода, им не кто-нибудь, а сам председатель команду подает, теперь с ним не поспоришь, и вернулись в овраг, а там другие думы захватили. Мотаиха на них навела, когда в кружок уселась. Молчала, молчала, подремывала вроде, потом подняла голову, посмотрела на небо светлыми, еще не затуманенными глазами и изрекла:

— Дождичка бы седни, а небо синенькое да чистенькое, и кости не болят,— прошамкала беззубым ртом и добавила: — Вовремя освободили — через недельку хлеба можно жать, если раньше не подойдут.

— Без немцев быстро уберем. Все навалимся и...

— Кабы так.

О дожде Мотаиха без значения сказала, но если бы он случился да еще гроза хорошая грянула, не быть бы беде, которую не ждала ни одна живая душа.

Разговор о будущей уборке Гришка слушать не стал. О вспашке, севе, сенокосе и других колхозных работах он наслушался вдоволь. Перед каждой такой кампанией и колхозные собрания проводили, и бригадные, и дома без конца воду в ступе толкли. Умолкали, когда в поле выходили и разговаривать становилось некогда.

Мальчишка тихонечко поднялся и пошел в деревню, чтобы получше рассмотреть, а если удастся, и пощупать пушки и пулеметы, новенькие винтовки с кинжальными, как у немцев, штыками. И не один он таким догадливым оказался. Чуть не вся мелюзга на улице толкалась, его сверстники Петька и Колька Павловы, Вовка Соро-

кин, Кирюха Хренов, Ванька Федотов, еще кто-то. Гришка пристал было к ним, но задержался у «максима», в который, как в самовар, красноармеец заливал воду. Гришка хотел ему помочь — поддержать что, за водой сбегать, но не успел и рта раскрыть — слышался рев немецких бомбардировщиков. Красноармеец выругался и потащил пулемет во двор ближайшего дома — испугался, видать, — а он, Гришка, этих самолетов уже насмотрелся: каждый день, и не по одному разу, они пролетали над деревней. Эти тоже куда-то летят. Ну и пусть себе. Даже многократно повторенная команда «воздух!» не встревожила мальчишку. Он почувствовал опасность, когда самолеты образовали круг. Оглянулся — на улице ни души, все куда-то убежали, попрятались. На месте оставались только пушки, машины и повозки. Гришка припустил в овраг, но, застигнутый летящей к земле смертью в виде капелек-бомб нацеленного прямо на него бомбардировщика, спрыгнул в первый попавшийся на пути окоп, в котором тряслась от страха бабка Савиха.

С оглушительным громом разорвались первые бомбы. Воздух стал тугим и жарким. Задрожала и стала уходить из-под распластанного на ней тела земля. Рука ухватила за какую-то ручку. Открыл глаза — самовар зачем-то притащила в окоп Савиха. «Он круглый и гладкий. Если прилетит осколок, то скользнет по крутому боку и не пробьет», — подумал мальчишка и прикрыл голову самоваром.

Перегруженные бомбардировщики надсадно гудели в вышине, по одному с оглушительным ревом бросались вниз, включали нестерпимо воющие сирены, и все это — гул, рев, вой — перекрывали разрывы бомб. Они рвались одна за другой почти без перерывов. Вдавливаясь в землю, едва не умирая от страха, Гришка ждал, что какая-то бомба попадет в окоп, убьет, разорвет на мелкие кусочки и его и Савиху. Надо было убежать в овраг, но как заставить себя подняться, выскочить из окопа

и оказаться один на один с самолетами и бомбами?

Откуда-то занялся ветер. Растущая рядом ива трепетно клонилась вниз, будто тоже искала спасения в окопе.

Приближалась новая серия взрывов. Последняя бомба рванула где-то совсем близко, оглушила, по спине забарабанили комья земли. «Прилетит большой ком — и он убить может! — пронеслось в голове. Тихо стало. — Улетели? Нет — гудят». Мужские голоса раздались над окопом. Гришка поднял голову — двое красноармейцев спускали в окоп третьего, раненного в ногу. У одного была перевязана рука, у второго отбит нос. Кровь лилась ручьем, боец собирал ее ладонью, смахивал на дно окопа, а руку обтирал о траву. Помогая перевязывать ногу товарищу, он костерил немцев больше всех. Смотреть на все это было так страшно, что Гришка забыл и про бомбы, которые начали снова рваться после небольшого перерыва, и про застилающий все вокруг дым.

Перевязав раненого, красноармейцы решили отходить дальше в тыл по оврагу. Гришка побежал за ними. Звал Савиху. Та отмахнулась: убьет — так не где-нибудь, а рядом с домом.

Мать встретила сына крепким подзатыльником:

— Я уж похоронила тебя! Где шатался-то?

— Я не шатался. Я в окопе Савихи сидел.

— Дом наш цел еще?

— Не знаю... Не посмотрел.

— Ну да. Где тебе! А в деревне что делается?

— Не знаю. Горит.

Мать посмотрела на него укоризненно, будто он был виноват во всем, и отвернулась. Он тоже не пытался с ней заговорить. Так молча и просидели, может, час, а может, и еще больше.

Бомбежка продолжалась.

В первом или во втором классе учительница рассказывала, что самолеты за полчаса могут уничтожить боль-

шой город. Старую Руссу, например. Если так, то их деревни давно нет. Что же они тогда все бомбят и бомбят.

— Я посмотрю наш дом,— сказал Гришка матери.

Она не ответила. Он взбежал на верх оврага, чуть помедлив, стал взбираться на черемуху. Сначала поразил непривычный вид поля у Старорусской дороги. На месте скотного двора громоздилась куча исковерканных бревен. В деревне пылали десятки домов, одни уже догорали, из других высоко в небо рвались светлые языки пламени. В образовавшийся на миг просвет увидел свой дом. Хотел спускаться и порадовать мать, но налетела новая партия самолетов, и дом, словно игрушечный, собранный из легких палочек, поднялся вверх, чуть задержался там и, рассыпавшись, рухнул вниз. Гришка зажмурился, а когда открыл глаза, на месте дома полыхал еще один громадный костер.

А самолеты все кружились и кружились в своей адской карусели и сбрасывали новые бомбы на сметенную с лица земли деревушку. Новые языки пламени продолжали прорываться то тут, то там сквозь черные, синие и серые клубы дыма.

В сумерках фашисты обстреляли Валышево из минометов. Под прикрытием их огня в наступление пошли цепи автоматчиков. Остававшиеся еще в деревне красноармейцы стали отходить за реку к Ивановскому. Одного раненого, видел Гришка, немцы схватили, избили прикладами и куда-то увели. Двое бойцов направлялись почему-то в сторону немцев.

— Вы не туда идете! Там нашего только что схватили! — крикнул мальчишка.

Красноармейцы не остановились и не повернули назад. Парнишка подумал, что они идут выручать раненого, но бойцы побросали винтовки и подняли руки. Еще какое-то время он надеялся, что бойцы сделали это нарочно — дадут фашистам окружить себя, а потом за-

бросают их гранатами,— но эти двое сдавались в плен. Их обыскали и, подгоняя прикладами, повели в тыл. И раненого били, и этих тоже.

А в Ивановское фашистов долго не пускал какой-то отчаянный пулеметчик. Как только сунутся на мост, он их полоснет из окна второго этажа стоящей на берегу чайной. Откатятся — молчит. Ступят на мост — снова открывает огонь. Когда автоматчики подожгли здание, пулеметчик перебежал в гумно и снова преградил им дорогу. Фашисты хотели взять его живым, кричали, чтобы сдавался. Он отвечал короткими очередями.

Позднее ивановские рассказывали, что в гумне и погиб оставшийся неизвестным герой-пулеметчик.

4. РЫЖИЙ

До бомбежки Валышево напоминала букву Т, у которой левое плечо явно длиннее правого. Видно, начинали застраивать деревню от Старорусской дороги, потянули вглубь, а потом, чтобы не спускаться в низину, пришлось делать и поперечную улицу. Теперь лишь в конце левого плеча остались несколько домов, сохранился дом Савихи, весь скособочившись, вот-вот рухнет, стоял дом Пушкархи. По счастливой случайности ни одна бомба не попала на подворье родного дяди Гришки по отцу Тимофея и его жены Варуши, но автоматчики при наступлении обстреляли дом зажигательными пулями, и он тоже сгорел наполовину.

После бомбежки Валышево стала походить на запущенное кладбище, на котором вместо могильных крестов тянулись в небо черные столбы печных труб.

И люди от отчаяния и безысходности тоже стали черными. Сначала выбитые из колеи бессмысленным уничтожением деревни они просто бродили по пепелищу или часами просиживали где-нибудь неподалеку, потом стали

отыскивать уцелевшие вещи, раскапывать завалы, выбирать бревна и доски, которые могли пригодиться хоть для какого-нибудь строительства, и увлекались такой работой. Однако стоило кому-то распрямить спину, увидеть изрытую воронками землю, как спазмы перехватывали горло, а руки опускались.

Пожары в деревне случались и раньше, но тогда на помощь погорельцам приходили всем миром, быстро вырастал новый дом, и часто он получался лучше прежнего. А теперь как быть, если погорельцами стали все? В землю закапываться? Она от бомб спасла, на нее же и от холодов вся надежда.

Землянки надо строить, подсказали деды, солдаты еще той, германской, в овраге же, чтобы меньше материалу шло, и посоветовали, как это делать. Сначала снять дерн и уложить в штабеля; потом яму копать; стенки, чтобы не осыпались, досками обшить или ивовым прутком оплести; на крышу бревна покрепче и подлиннее подобрать; щели сверху глиной с соломой промазать — тогда любой дождь не страшен; после этого землицы побольше навалить и дерном покрыть — корни травы разрастутся, все свяжут и дополнительную крепость дадут.

— Мы годами в землянках жили — и ничего, здоровье не потеряли, — утешали служивые. — Вы тоже терпитесь.

Начали строиться, а фронт тем временем снова отодвинулся и утробно ворчал где-то далеко, может быть, снова под Рамушево. Фашисты убрались вслед за ним и в деревне не появлялись. Выстрелы же в ближайших лесах слышались часто — ребятишки со всякого рода брошенным оружием баловались. Возвращаясь в овраг, наперебой рассказывали, кто что нашел и кому из чего пострелять удалось. Гришке не до того было. Пока мать хлеб жала, с маленькими управлялся, землянку строил, следом картошка прispела. Ее надо было выкопать и

снова в землю упрятать подальше от фашистского глаза, сена опять же корове заготовить — восемь коров в бомбежку побило, а их Муська жива осталась.

Гришка знал многие крестьянские работы, но о сене всегда заботился отец, и со стороны это дело казалось простым и легким. Когда же сам за него взялся, почувствовал, что жидковат для такой работы: литовку надо все время держать на вытянутых руках, а она тяжелая, чуть помашешь — коса в землю начинает тыкаться, да так, что иной раз еле ее вытащишь.

Вначале маета одна получалась, но он упорствовал, и руки привыкли к нелегкому труду, окрепла и перестала ныть спина. Медленно, совсем не так, как у отца, но начали расти стожки. А раз пошло дело, то почему бы и ему не «попромышлять»? Припрятал полмешка ручных гранат — ребята целую машину с этим добром нашли, и каждый «прибрал», сколько хотел.

На первых порах больше с запалами баловались. Бросят в костер — он и взорвется, даже головешки разбрасает. Вскоре другое игрище придумали. Вобьют гвоздь в землю, потом вместо него запал вставят, сверху тот же гвоздь пристроят — и лопатой по нему. Запал сначала негромко щелкнет, а отскочишь, рванет так, что небольшая воронка получается.

У него однажды запал взорвался сразу, лопата подскочила вверх и самого едва не опрокинула. Все произошло молниеносно, ничего и сообразить не успел, лицо белее сметаны стало, глаза под лоб увело. Кирюха Хренов подскочил к отставшему в «военной подготовке» приятелю:

— Балда! Ты от противотанковой гранаты запал сунул, а он сразу взрывается. Нажал бы посильнее, пока в землю вталкивал, так без пальцев остался! Есть у тебя еще такие? Ну-ка покажи. Во, видишь? Они длиннее и толще. Соображать, Гриша, надо, чтоб без головы не остаться, — внушал местный острослов.

Наигрались вволю запалами — за гранаты принялись. Стали глушить ими рыбу. Гранаты тоже взрываются не сразу, до дна, наверно, успевают опуститься, тогда только. Вода задерживает осколки. Если и вырвется какой, то не страшно, а рыбы иной раз всплывет столько, что удочкой и за день не наловишь.

В этот выдавшийся свободным день Гришка решил порадовать мать добычей и отправился на реку. Ветра не было, и потому казалось, что вода в Полисти остановилась и никуда не текла, а мир замер, наслаждаясь теплом и покоем. Такая благодать стояла на земле, что не хотелось нарушать ее, и мальчишка долго сидел на берегу, как-то по-новому открывая для себя и светлую синь небес, и блеклую голубизну воды, и доверчиво склоненные к ней длинные ветви ив. Все заботы куда-то отступили, обуяла парнишку лень, и ему пришлось пересиливать себя, чтобы подняться на ноги и заняться делом.

Бросил три гранаты, и мешок хорошо наполнился. Последнюю, четвертую, решил взорвать за изгибом реки, поближе к деревне. Пока шел туда, вставил запал, ручку на боевой взвод поставил, а вышел за поворот и будто в стену уперся: один фашист, в форме, высокий, к нему спешит, другой, рыжий, в белой рубаше и подтяжках, с противоположного берега на него уставился. Бросить гранату в долговязого, а самому дать деру? Он-то убежит, а что эти гады с семьей сделают?

Лопоча что-то на немецком, Долговязый подходил к Гришке. Говорил не сердито, вроде бы уговаривал. Рыжий с того берега закричал громко и повелительно: — Рус, ко мае! Ко мае, рус!

К себе зовет, догадался Гришка, посмотрел на гранату, на мешок — с ними-то что делать? — и, ничего не решив, чувствуя спиной холод, стал переходить по камням на другой берег реки. Там увидел крупные веснушки на лице Рыжего, его светлые, почти белые, глаза и удивился: Рыжий пятился от него и хватался рукой за живот, где

немцы носят пистолет! Долговязый тоже боялся гранаты, но шел к нему, а этот...

— Рус, бросай! Вассер, вассер! — отступая от него, кричал Рыжий.

Вассер — это вода, вспомнил мальчишка и кинул гранату в реку. Рыжий растянулся на земле, обхватил голову руками, но, едва опустилась поднятая взрывом вода, вскочил, догнал убежавшего от него Гришку и вытянул по спине палкой. Мальчишка взвыл, бросил мешок с рыбой и побежал к деревне. Пока неслись полем, Рыжий отстал от него, но как только побежал в гору, переломило спину, стали непослушными резвые Гришкины ноги, и Рыжий молотил его, как хотел, сбивал на землю, пинал и что-то все кричал, кричал. Гришка падал, полз, карабкался на четвереньках, поднимался и снова падал, сбитый с ног увесистой палкой.

В деревне, в том ее месте, где уцелели несколько домов, Рыжий поотстал и опять что-то закричал. Гришке показалось, что он требовал пистолет. Солдат на улице не было, и Рыжий сам побежал за оружием.

Мальчишка затравленно оглянулся и пополз в сад деда Наума. За садом было поле, за ним — лес. Он надеялся доползти до него, но не смог.

Приходил в себя медленно. Сначала, еще не сознавая, где он и что с ним, почувствовал боль, потом холод, на какое-то время впал в забытие. Очнувшись снова, вспомнил, как бежал, карабкался, полз в гору, и от этого боль стала еще сильнее. Едва шевельнулся, пронзила всего. Ойкнул и испуганно затих. Увидел над собой опрокинутое звездное небо и удивился: уже ночь? Что же он делал все это время? Неужели спал и почему Рыжий не пристрелил его? Решил, что уже мертв? А он-то дурак, зачем побежал в деревню? Надо было влево кинуться, вдоль реки. Там кусты, пробежать ими дальше и переплыть на другую сторону — не полез бы, поди, за ним Рыжий в воду.

Мальчишка лежал в какой-то неглубокой яме, но как попал в нее и где она находится, не знал. Занявшийся ветерок донес хрумканье лошадей и чужой тихий говор. Немцы остались ночевать! Как же ему теперь домой добираться? Стал приподниматься. Присохшая к телу рубашка оторвалась от ран, по спине и ногам побежали ручейки. Кровь, догадался Гришка. Надо подождать. А если она вся вытечет? Тут и помирать. Ну уж, нет! Раз не добил его Рыжий, надо жить!

Отлежавшись, рассмотрел над головой ветки вишни. Выходит, дальше сада деда Наума уползти не смог. Не избил бы его так сильно Рыжий, двинул бы отсюда в лес и обошел деревню стороной, но теперь, он понимал это, придется добираться кратчайшим путем, а для этого надо переползти улицу.

Крепко сжав зубы, чтобы не застонать и не ойкнуть от боли, выбрался из ямы, отдышался на ее краю и пополз дальше. Часовых было двое. Они прохаживались вдоль обоза. Сойдутся, перемолвятся парой словечек и расходятся...

Когда ближний немец уйдет к дальнему и они встретятся, тогда его черед. Можно и пораньше, сейчас можно. Он пополз, пополз быстро, у фуры задохнулся и от перенапряжения и от боли. А часовой уже шел обратно. Надо под фуру — там спасение. Залез, припал к земле, голову от часового отвернул, чтобы не спугнуть взглядом. Подходит. Совсем близко! Гришка лежал, считал шаги, рукой прикрывая неистово колотившееся в груди сердце. Прошел, остановился, повернул обратно. Опять остановился. Зачем? За-че-ем? Неужели заметил? Чиркнул зажигалкой. Потянуло кислым сигаретным дымком. Снова раздались шаги. Миновал фуру. Пора? Нет, надо подождать. Вот теперь можно. Дополз до огорода, там, лоя ртом воздух, дождался следующего прохода немца и только после этого, ощупывая путь руками, чтобы чем-нибудь не брякнуть, тихо двинулся дальше.

В овраге поднялся на ноги, но свалился и, поскуливая, как щенок, пополз к землянке. У нее хотел отдышаться, силы накопить, чтобы не испугать своим видом мать, а она тут же и вышла, видно, не спала. Тихо попросила:

— Показывай, чего морщишься?

— Да ничего.

— Как это ничего, когда тебя немец лупил? — Уже знает, уже рассказали! — Подними руки — рубашку стяну. Да не бойся, я осторожно. — Зажала рот руками, чтобы не раскричаться, и тут же, где уж удержаться, попрекнула: — Добаловался, так терпи.

Мать отдирала рубашку бережно, а ему казалось, что она снимает ее вместе с кожей. Стала мерзнуть спина. Мальчишка зажмурился, стиснул зубы, чтобы не закричать и не оттолкнуть спасительные руки матери. Сестренки одна за другой вылезли из землянки и сразу пустились в рев. Мать шуганула их обратно, а чужих не прогонишь. Стоят, вздыхают, морщатся, советы разные дают. От этого Гришке и совсем худо стало. Всего, до кончиков пальцев, охватила дрожь.

Мать обмыла раны водой, чем-то смазала и начала бинтовать. Индивидуальных пакетов он натаскал из леса много. С подушечками они и чистые. Так умотала ими, что нечем стало дышать. Показалось, что в бане он, на полке, а отец изо всей силы хлещет по спине веником.

— За что? — крикнул Гришка, хватил широко раскрытым ртом раскаленного воздуха и задохнулся.

5. «МАКСИМ» НА БУГРЕ

Почему мать так тихо вела себя в ту ночь, Гришка догадался дней через десять, когда она призналась:

— Не чаяла я тебя выходить, негодник! Думала, немец тебе все ребра переломал, почки отбил, а ты поправишься, так снова шkodничать начнешь? Смотри у меня! — показала крепкий кулак.

Первый раз в жизни отлеживал бока Гришка и даже угощения от односельчан принимал. Жалели его, пострадавшего от фашистов, радовались, что жив остался, скорейшего выздоровления желали.

Непривычно это было мальчишке, за которым никто и никогда не ухаживал. Он всем носы утирал, пока Настя не подросла. Потом другая работа приспела. Школа школой, но домашних дел всегда невпроворот находилось. Пятиклассником свой огород обихаживал, лен наравне со взрослыми теребил. Через год картошку на коне окучивал. Мало кому из сверстников эту работу доверяли, а на сына колхозного бухгалтера надеялись. Ягоды и грибы с матерью тоже всегда он заготавливал. Уходили в лес затемно, а возвращались — сразу на колхозное поле бежали, чтобы наряд выполнить.

Первый раз блаженствовал парнишка и потому вначале даже радовался этому, однако скоро и тягость от вынужденного безделия почувствовал. Чуть окреп, стал на ручных жерновах зерно молотить. Мельница была в Ивановском и работала, — бывшая хозяйка, о которой даже старухи давным-давно забыли, приехала неизвестно откуда, и немцы ее признали, — но за помол надо платить, а чем? Пришлось снова на пожарищах рыться, чтобы выброшенные за ненадобностью жернова разыскать и пустить в дело. Работа нехитрая. У верхнего жернова дырка есть. В нее зерно засыпаешь и ручкой крутишь верхний жернов. Зерно между двумя кругами перетирается, и получается мука. Раньше ее еще через сито просеивали, сейчас не до этого. Без мельницы обходились. И без спичек: огонек постоянно держали в печи, горячие угольки, или шли за ними к соседям. Лампы в овраг перед бомбежкой принести не догадались, и они все сгорели, да и зачем лампы, если нет керосина. Лучину, как в старину, жгли. «Моя мама рассказывала, что раньше все по вечерам при лучине сидели», — обмолвилась как-то мать. Она не жаловалась, просто удив-

лялась пришедшим в голову мыслям. Жаловаться в семье не умели, а вот радоваться... Когда их многодетной семье выделили на сходе для жилья водогрейку, девчонки, как мальчишки, борьбу устроили, Миша часа два «ура» кричал и выплясывал что-то, даже мать ожила, глаза у нее стали теплыми и блестящими. Да и было от чего прийти в такой восторг: водогрейка что дом настоящий — и окно в ней есть, и печь кирпичная, под ногами пол деревянный. Темновато в ней, стены копотью покрыты, печку кто-то полуразвалил, но стены поскоблить и вымыть можно, печь поправить, все можно сделать, если дружно взяться.

Снова разные дела подхватили мальчишку, однако в лес он не забывал заглядывать — там еще много всякого добра валялось. Однажды с Вовкой Сорокиным, с Петькой и Колькой Павловыми в дальнем соснячке на ЗИС-5 наткнулись. Красноармейцы думали уйти от немцев по лесной дороге, от деревни уже порядочно уехали и чуть не влетели в болото. Объездную дорогу искать им, видно, было некогда, и они бросили машину вместе с находящимися в кузове винтовками и патронами. Гришка наскоро протер затвор, вставил обойму в магазин и выстрелил. В желании поскорее нажать на спусковой крючок приклад прижал плохо и еле устоял на ногах от сильной отдачи в плечо. Передернул затвор, прицелился в тот же сучок, в который не попал первый раз, но над лесом показалась стая «юнкерсов», и парнишку будто обожгло: вспомнил, как они бросались на деревню, нацеливаясь носами на дома, как сыпались из них и рвались бомбы, с каким гулом и треском горела деревня, весь тот страшный день вспомнил, пристроил винтовку для устойчивости на сучок и, не обращая внимания на протесты друзей, — по крыльям, по крестам на них и на фюзеляжах.

Вовка Сорокин заплакал:

— Не стреляй — бомбить будут!

Гришка оттолкнул его, вставил другую обойму и ее расстрелял, но ни один самолет не загорелся и не упал. Гришка не знал, что сбить самолет трудно даже из пулемета, не знали этого и друзья. Стали обзывать его мазилой, он отвечал, что если бы стреляли все, а не ныли, то обязательно бы в какой-нибудь «юнкерс» попали и он бы лежал сейчас на земле. В перепалке не заметили, как бомбардировщики развернулись и снова показались над машиной. Опомнились от пулеметных очередей и с воплями понеслись домой. Гришка укрылся за толстой сосной — от пуль спасет, а бомбы не бросают.

Ребята не вернулись, а Гришка пару винтовок и несколько цинков с патронами оттащил от машины подале и спрятал. Дня через три сказал матери, что пойдет посмотреть сено. И сам вроде бы ради этого в лес собирался, но ноги сами собой привели к спрятанным винтовкам: их надо было понадежнее укрыть, ту, из которой стрелял, почистить, а чтобы легче было удалить из ствола нагар, нелишне пострелять из нее и разогреть. Так все и сделал, можно было домой двигать, да захотелось по лесу пройтись, посмотреть, не завалилось ли там еще что нужное.

Кустами в редкий горелик вышел, по нему к дороге, которую называли Копанной. Ничего не нашел. Солнце показывало, что пора домой возвращаться, Гришка и направился к деревне, но не по дороге, а с левой ее стороны. Уже недалеко Валышево, уже, потеряв всякую надежду найти что-нибудь, перестал поглядывать по сторонам, как на небольшом бугре из камней, давно заросшем травой и даже маленькими сосенками, увидел пулемет «максим»! В щите зияла дыра, лента наполовину расстреляна. Видно, ранили пулеметчика, кто-то увел или утащил его, а на «максим» сил не хватило. В несколько прыжков мальчишка подскочил к пулемету, лег за него, взялся за ручки — и та-та-та по фашистам, по всем фашистам на земле. Повалились они один за другим,

заорали, корчась от боли, а те, которые были убиты, падали молча и не шевелились.

— Вот так вам! Вот так! — кричал мальчишка и все строчил и строчил из пулемета, яростно прищуривая левый глаз.

Ствол пулемета легко поворачивался из стороны в сторону, как в «Чапаеве» у Анки, когда она стреляла по каппелевцам, но фашистов впереди не было, и пулемет строчил лишь в воображении его счастливого обладателя — Гришка не знал, на что надо нажимать, чтобы привести механизм в действие. Стал искать спусковой крючок, все оглядел — ничего похожего. Может, нужно ручки сжимать? Нет, укреплены намертво. Прицел складывался и раскладывался, еще какие-то железки шевелились, однако пулемет не стрелял. Отодвинулся от него подальше — так, говорила учительница, надо картины рассматривать, чтобы все охватить глазом и понять, — нет спускового крючка!

Раздосадованный, отвернулся, стал думать. У винтовок и пистолетов крючок прикрыт скобой, чтобы за что не надо не цеплялся, для предохранения, словом. И здесь скоба где-то должна быть. Стоп! Стоп! Стоп! Стреляя из пулемета, Анка держалась за ручки! Не упрятаны ли в них какие-нибудь кнопки? Хм, ручки почти такие, какие к дверям прибивают, а кнопок нет. Выше ручек какая-то рогулина торчит. Потянул на себя — пустой номер. Со злости стукнул по ней ладонью — «максим» дал короткую очередь. Олух небесный! Анка за ручки держалась, чтобы ствол, куда нужно, направлять, а большими пальцами в это время на рогульку надавливала. Ухватил ручки, ствол задрал в небо — вдруг понесет кого-нибудь по дороге — и нажал. Пулемет ожил, через его тело, как живая, побежала лента.

— Ура! — закричал мальчишка. — Ура-а!

И кричал до тех пор, пока не кончились патроны, и в наступившей тишине не услышал встречные винтовоч-

ные выстрелы и автоматные очереди. Выглянул из-за щитка на дорогу — от нее, стреляя на ходу, к пулемету бежали фашисты! Как они здесь-то оказались — никогда по Копанной дороге не ходили.

Не раздумывая и секунды, сработал пятками назад, а сообразив, что бугор защитит от пуль, вскочил и дал стрекача. Бежал, не разбирая дороги, сначала гореликом, потом сосняком, пока не почувствовал, что задыхается. Передохнув, пошел дальше, в самый бурелом, потом еще дальше, между двух болот. На другой их стороне упал и стал ждать, когда успокоится сердце и придет дыхание.

Лежал долго, слушал пение птиц и шелест листьев над головой. Радовался, что так просто ушел от фашистов, и еще больше тому, что удирает от них без страха, будто заранее знал, что сумеет уйти, не подшибет его даже случайная фашистская пуля. Зла в душе тоже хватало: заметил бы немцев пораньше — не в воздух разрядил бы ленту. И пулемет было до слез жалко. Он закопал бы его надежно в землю, пулемет бы ему пригодился.

Домой возвращался лесом, опасаясь засады на дороге, и себя хвалил за столь разумный поступок, пока кто-то не шепнул на ухо: «А вдруг немцы оставили пулемет — зачем он им нужен, если все патроны расстреляны?». «Угу! А других патронов им найти негде, да?» — возразил он шептуну-соблазнителю и еще минут десять доказывал себе, что к пулемету идти нельзя, потом повернул к дороге.

К бугру подползал долго, со всеми предосторожностями. Немцев поблизости не было, пулемета — тоже.

6. В КУРОРТНОМ ГОРОДЕ

Лето первого года войны выдалось на Новгородчине жарким и таким засушливым, что выпавшие дожди на пальцах одной руки пересчитать можно. Немецкие танки не только по шоссе и хорошим дорогам, но порой и

по болотам без опаски проходили и создавали большие и малые котлы окружений. Сентябрь тоже простоял сухой. Тучи начали собираться на небе лишь в октябре, и в это время Гришка повадился ходить в Старую Руссу на довоенные склады. Фашисты их хорошо почистили, однако там можно было найти и жмых, и отходы мака, и свеклу. Однажды целую банку маринованной капусты откопал, но больше всего парнишку привлекали сгоревшие конфеты, сгоревший же, перемешанный с землей сахар. Его заливали горячей водой, давали отстояться и подолгу пили сладкий «чай», настоящий на смородиновых листьях.

Пошел за добычей и в этот день, хотя всю ночь лил дождь, утром тяжелые и низкие тучи не пускали к земле даже солнечного зайчика, а воздух, как при добром тумане, был насыщен влагой. Голод погнал. Он наступил как-то внезапно и с каждым днем все больше давал о себе знать. Не было яиц, мяса, сала, сметаны, круп, овощей и многого другого, привычного и необходимого. Зерно и картошка были, но мать то и другое берегла на зиму.

До города двенадцать километров. Все деревни, как и Валышево, держатся реки и потому стоят с левой стороны дороги. Первая Гусино, за ней Горушка, Утушкино, Гарижа. После нее на несколько километров тянется угрюмый и густой лес, в котором до войны лихие люди занимались грабежом. Здесь мальчишку застал дождь. Мелкий, занудливый, он впивался в телогрейку, просачивался сквозь нее и штаны, особенно на коленках, до дрожи холодил тело.

Слева показалась деревня Кондратова, за ней — Кочерино, а скоро и стоявшая подальше от дороги Косино. В ней была средняя школа, в которой он учился три года. Ее хорошо видать с дороги — трехэтажная! В прошлом году еще учился, а нынче...

Совсем не к месту вспомнилось вдруг, как, отвечая на вопрос учителя литературы, и отвечая правильно, он

выдал: «Пуля решетом побежала в канаву». Не нарочно «выдал», а оговорился, поэтому, наверно, так смешно все и получилось. Учитель Александр Александрович Михайлов привстал со стула, брови его взметнулись, потом он лег на стол и спросил сквозь смех и слезы: «Как? Как? Решетом? Побежала? Ну, Иванов! Ну, Иванов!» — и хохотал на весь класс. Что делали в это время ребята, лучше и не вспоминать.

Теперь бы не засмеялись, но теперь и школ нет и не будет, как-то сказала мать, пока не прогоним немцев. Так и сказала: «Пока не прогоним»! Можно подумать, что это могли сделать она, он, сестренки и Миша.

Перед городом дождь кончился. Мальчишка пошел быстрее, стал согреваться. Когда учился в Косино, в Старой Руссе бывал часто и всегда поражался многолюдью города, особенно летом, когда его заполняли курортники и отпускники, приезжавшие не только из Новгорода и Ленинграда, но и из самой Москвы. Вечерами на улицах, которые вели от вокзала к курорту, не протолкнуться. Здесь же без усталости бегал маленький трамвайчик. Отдыхающие часами простаивали на Живом и Соборном мостах, разглядывая удачливых рыболовов и купающихся. Женщины все в нарядных цветных или белых платьях, в туфельках на высоких каблуках, такие красивые, что и смотреть на них страшно. Многие с ярко накрашенными губами. От таких он и вовсе отводил глаза. Мужчины в костюмах, чаще всего в серых, с прямыми и широкими плечами. «Бездельники! — говорила о них мать. — Это надо же целый месяц попусту подошвами ширкать! От такой жизни я бы сама в могилу запросилась».

Горожане тоже жили легко, работали зимой и летом всего по восемь часов, копались на малюсеньких огородах, вечерами гуляли по улицам, а в выходные целыми семьями шли на курорт. Там был стадион, играл духовой оркестр, устраивались танцы, на курорте можно было даже взять напрокат велосипед.

Теперь в Старой Руссе так же безлюдно, как и в Вальшево. Если кто и появлялся на улицах, то шел быстро, чтобы поскорее дойти до нужного места. Гулять без дела отучили немцы. Сначала построили виселицы у Дома крестьянина и первой средней школы, чуть позднее повесили сразу двадцать пять человек на улице Володарского, потом стали казнить людей везде, где находилось подходящее дерево.

Он дошел почти до центра и никого не встретил. К Живому мосту подходил, около которого еще недавно стоял красивый, украшенный разноцветными стеклами павильон, тогда только увидел небольшую группу чем-то встревоженных женщин. Собираться кучками старорусцы остерегались, и это озадачило мальчишку. Спросил, чего они ждут.

— Не твое дело. Топай отсюда,— сердито ответила какая-то женщина.

Другие и не посмотрели на него. Он и потопал было, да увидел приближавшуюся черную машину и решил подождать, пока она пройдет, среди людей. А машина остановилась, стала пятиться к растущим на обочине деревьям. Один из выскочивших из нее фашистов стал набрасывать на дерево веревку с крючьями на концах. Она срывалась. Тогда он забрался на крышу кузова и с первого раза перекинул веревку через толстую ветвь. Концы бросил вниз. Крючья ударились друг о друга и пронзительно зазвенели.

В черных машинах фашисты возили арестованных. Гришка подумал, что будут кого-то вешать, но почему вместо петли на веревке крючья?

Двое карателей заскочили в машину через заднюю дверь. Еще один, толстый и неуклюжий, с трудом залез вслед за ними. В проеме двери показался мужчина в гражданской одежде со связанными за спиной руками. Увидев перед собой раскачивающуюся веревку, отпрянул назад, но его подтолкнули к краю, и толстый приставил

к горлу арестованного черные крючья с наточенными и потому белыми концами.

По знаку старшего машина резко рванулась вперед, и мужчина, не успев крикнуть, закачался на натянувшихся, как струна, концах веревки. Какое-то время его ноги тщетно пытались дотянуться до земли и замерли, мерно покачиваясь из стороны в сторону.

«Вот как! Мало им виселиц — они еще и крючья придумали!» — пронеслось в голове Гришки, а в ушах возник какой-то вязкий и тягучий шум, и почти одновременно донесся тонкий, ни на что не похожий звук. Это еще что такое? Мальчишка поднял голову и увидел, как, зажимая рты руками, чтобы не дать волю голосу, от машины пятились женщины. У него остро резануло в животе, что-то оторвалось там и большими жесткими комками стало подступать к горлу. Гришка согнулся пополам, открыл рот, но его не вырвало. Спазмы же продолжались, и он тоже стал отходить от машины, потом побежал, свернул за угол, там снова пытался освободиться от комков в горле, и опять не получилось.

После этого наступил какой-то непонятный провал. Гришка стал себя сознать, лишь оказавшись у немецкой комендатуры, где, как всегда, безмолвно стояла большая очередь. Сюда приходили в надежде получить деньги за отобранный скот, с передачами для арестованных, находились и такие, кто осмеливался просить об освобождении родственников. Стояли, отрешенные от всего мира, иногда по несколько часов.

На склады Гришка не пошел. На обратном пути снова набрел на то место, где была черная машина. На крючьях висели четверо. На груди каждого желтела фанерка с надписью: «Саботажник».

Как шел дальше, не помнил. Пришел домой тихий и с пустыми руками, спросил у матери, не знает ли она, что такое «саботаж».

— Погоди-ка, наших, помню, судили за этот самый

саботаж, а как его понимать? Зачем спрашиваешь-то о нем?

Он показал глазами на сестренку, и мать прогнала младших на улицу:

— Что уши развесили? Идите погуляйте, нечего целый день дома сидеть.

Гришка рассказал ей обо всем, что видел и пережил в Старой Руссе. Мать слушала его стоя, ни разу не перебила и все время разглаживала зачем-то ладонями лицо, будто у нее болели зубы. Заговорила не сразу:

— С какой стороны ни подступись, ироды какие-то, а не люди, прости меня, господи, — неожиданно обняла сына, прижала к себе, что давно не делала, и спросила, заглядывая в глаза: — Натерпелся страху-то? На-терпел-ся! Не ходи больше в город — им все равно, кого жизни лишать, хоть старого, хоть малого. Людей на крючья вздергивать! Дьяволу такого не придумать!

— Им до всего все равно, — согласился он. — В Воскресенском соборе вон конюшню устроили.

— О, господи! В церкви?

— Сам видел.

Мать забежала по водогрейке:

— Да что же это такое? Что творится на белом свете! И господь бог мирится с этим? Допускает? — зачерпнула ковшиком воды, но отпить забыла. С ковшом в руке опустилась на нары, задумалась, не зная, что делать и за что взяться. В ее глазах застыла непривычная растерянность.

У Гришки вертелся на языке еще один вопрос, и он задал его:

— Мама, а как же наши так могут?

Оторванная от своих дум, мать сердито вздернула голову:

— Какие наши? Что могут? Толком слова не скажешь!

— Да те, которые немцам помогают. Полицай, старосты. Городского фотографа Быкова помнишь? Он бур-

мистром, нет, бургомистром стал. Карточки партийных немцам показывает, а те их расстреливают. Может, он и фотографом работал, чтобы эти карточки иметь, может, и сегодня людей из-за него казнили?

— Не знаю, Гриша, неграмотная я, но по мне лучше самую лютую смерть принять, чем таким паршивым делом заниматься. Это же на всю жизнь позор, семье — стыд и проклятье на веки вечные.

И Гришка так думал, но ему хотелось понять другое. Летом к ним неожиданно пришел житель Старой Руссы латыш Ян. До войны он со своей матерью часто приходил в Валышево за ягодами. Ночевали всегда у них. Потом, знал Гришка, Яна призвали в армию. Появился же он в гражданской одежде и объяснил, что так легче выходить к своим, а его попросил сходить за матерью, чтобы попрощаться. «Под немцем хочешь остаться?» — не поверил он Яну. Тот возмутился: «Хотел бы, так домой пришел или в Латвии у своих остался». Гришка выполнил просьбу Яна, и тот ушел из Валышево вместе с матерью. Но куда? Вдруг Ян стал дезертиром? Эта мысль давно угнетала мальчишку и окрепла, когда он узнал, что сестра Яна стала работать у немцев переводчицей

— Мам, а мы не помогли немцам?

Мать вскинула на него негодующие глаза:

— Что мелешь? Я не по-мо-га-ла! А ты..

— Я тоже не помогал, нет! — вскричал Гришка. — С Яном вот только у нас как-то непонятно получилось. Вдруг он тоже на фашистов работает?

— Зашел бы к ним и спросил. Да и ходить не надо — со временем все узнается. Всякая кривда рано или поздно наружу выходит. И не переживай. Тут мы по совести поступили. Людям надо верить, Гриша, — хороших-то всегда больше, чем плохих.

Был вечер. Он помог матери убрать корову, истопил печь, намолот на завтра муки, но все делал без охоты и был как бы не дома, а все еще в Старой Руссе, в малень-

ком и тихом курортном городке, в котором теперь фашисты пытали и убивали людей, вешали их на веревочных петлях и на железных крючьях. Путь туда ему с этого дня был заказан — мать не отпускала и самому не хотелось.

7. «ТРЕТИЙ ФРОНТ»

Вспоминая то или иное событие минувшего лета, валышевцы уточняли: «До войны», «После начала войны». Позднее появились другие выражения: «До первого фронта», «После второго фронта». «Первый фронт» — это когда армия, минуя Валышево, отошла на восток. Под «вторым» подразумевали недолгое летнее освобождение. В начале января стали ждать прихода «третьего фронта» — уж очень сильно загрохотало тогда в районе Рамушево, а фашисты забеспокоились еще раньше. В доме Савихи прорубили амбразуру, чтобы из нее обстреливать шоссе, дзоты всюду понастроили, поле между деревней и шоссе «засеяли», говорил председатель, противотанковыми минами.

Прошло несколько дней, и снаряды начали рваться вблизи деревни, стали слышны пулеметные очереди. И наступил день битвы за Валышево. Бой начался утром. Несколько раз красноармейцы поднимались в атаки и, подбадривая себя криками «ура!», изо всех сил бежали по полю, чтобы быстрее достичь деревни, но фашисты уперлись и заставляли их откатываться назад. Удачной оказалась последняя, ночная атака. Не выдержали фашисты и отступили. И оказалось, что не захватывали они Москву, как хвастались всю осень. Месяц назад их погнали от столицы и гонят до сих пор. И Ленинград не могли взять, а под Демянском попала в окружение едва ли не целая армия фрицев. Продовольствие и боеприпасы немцы сбрасывают окруженным с самолетов, но это же пустое дело — не все долетают, куда надо, да и много ли на них погрузишь?

— Оно та-а-к, а с нами-то что будет? — спрашивали бойцов умудренные горьким летним опытом валышевцы.

— У вас полный порядок! Мы вперед пойдем, вы в тылу останетесь, — уверенно отвечали красноармейцы.

Они казались счастливыми — много уже деревень освободили, — и в то же время злыми — не отошли после боя, товарищей погибших не могли забыть. И другое заметил Гришка: большинство красноармейцев по возрасту могли с отцом сравниться. Командиры тоже не такие стройные и подтянутые, какими он привык их видеть. У одного даже ремень из кобуры выпал и волочился по снегу. Гришка тут же подскочил к нему:

— Товарищ командир, вы пистолет не потеряли?

— Нет, я его у сердца держу, чтобы не замерз. А ты чей такой шустрый будешь?

— Ивановых. Вы моего отца, часом, не знаете? Он тоже воюет. Его Филиппом Ивановичем звать.

— Не приходилось встречать, — улыбнулся командир, пряча ремешок за кобуру. — Спасибо, что предупредил, а то бы я его и потерял, пожалуй.

Командир отца не знал, но, может, красноармейцы где видели? Стал их спрашивать. Э, отвечали Гришке, Ивановыми всюду пруд пруди, но Филиппа Ивановича не знаем, и зря ты своего отца среди нас ищешь — мы из Сибири на фронт приехали.

«Так-то оно так, — подумал Гришка, — а вдруг?» Пошел дальше, каждому военному в лицо заглядывал, незаметно для себя к реке спустился и оказался у кухни, где klokотали в котлах щи и упаривалась каша. От одного их запаха у Гришки свело скулы. Однако подойти ближе к армейскому хлебову не решился — просить еду в деревне считалось последним делом. Пока раздумывал, как быть, услышал голос повара:

— Эй, малый, есть хочешь?

Хотел сказать, что нет, но голова сама собой закивала в знак согласия.

— Тогда неси посудину побольше и другим скажи, чтобы приходили, — у меня сегодня лишней пищи много-о, — протянул повар, хотел сказать еще что-то, но перхнулся.

Через несколько минут Гришка примчался с ведром, и повар наполнил его почти доверху. С легкой Гришкиной руки деревня потекла к военной кухне и скоро гремела ложками, таращила глаза на хлеб, испеченный не деревенским караваем, а городским кирпичиком в какой-то фронтовой пекарне. Хлеб был без всяких примесей и добавок, вначале казалось, что его можно не есть, достаточно и того, чтобы им надышаться. Невиданно большие куски настоящего хлеба сами собой таяли во рту и приносили необъяснимую усладу. И опять казалось, что никто и никогда в жизни не ел ничего более вкусного и сладкого, чем вот этот мерзлый, далеко не вчерашней выпечки хлеб. Но у бойцов был еще чай! Настоящий — грузинский! У них был даже, умереть можно от одного взгляда на него, настоящий, сверкающий белизной сахар! Его откусывали микроскопическими кусочками.

Теснясь с неожиданными гостями в землянках, колхозники прикидывали, что не напрасно в начале зимы, по первопутку, заготовили и вывезли бревна: весной без задержек можно начинать рубить дома из дармового, по сути дела, леса — немцы заготовку прохлопали и налогом не обложили, своим тоже не до того будет. Там, глядишь, школа откроется, керосин, мыло, спички начнут продавать. Станут приходить в деревню красноармейские треугольники, и все образуется.

На сытый желудок мысли радостные в голову идут и сны хорошие видятся, но не заснула в эту ночь деревня, не до того было. И Гришка не спал — читал и перечитыва добытые у бойцов газеты, удивлялся и газетам, которых давно не видел, и еще больше тому, о чем в них пишут. Там, за фронтом, живут тоже трудно, работают много, в очередях стоят, но ребятишки по-прежнему ходят в

школы, в кино и театры, на пионерские сборы собираются, там, в городах, даже мороженое можно купить, правда, по каким-то коммерческим ценам. Там даже елки на Новый год устраивали!

Немцы продолжали обстреливать деревню из пулеметов и минометов, но кого могла напугать эта бесприцельная стрельба после пережитого днем боя? О немцах старались не вспоминать, забыть обо всем, что связано с ними. Узнав, что сражение идет ради освобождения Старой Руссы и окончательного окружения Демянской группировки врага, совсем успокоились: большие бои будут под городом — какая фашистам корысть драться за деревню, от которой одни головешки остались? Так рассуждали неискушенные в военном искусстве колхозники, не допуская, что гитлеровцы будут биться за каждый бугорок и кустик не только здесь, но и всюду, что война продлится еще бесконечно долго и пока они, валышевцы, хлебнули лишь малую толику из ее горькой чаши.

Утром начался новый бой. Снаряды и мины рвались непрерывно, цепи немецких автоматчиков поднимались все в новые и новые атаки и в конце концов добились своего. Красноармейцы отошли к лесу. Фашисты лезть под огонь на чистом поле не захотели и закрепились в деревне, а наши, было видно, стали окапываться на опушке.

Деревня приуныла: что же дальше-то будет? Фронт так и встанет, если дальше не откатится, или наши немцам пыль в глаза пускают, а сами задерживаться в лесу не будут, ночью снова перейдут в наступление и освободят. Получилось и так, и этак, и еще хуже. Хоть и пускали фрицы всю ночь ракеты, хоть и простреливали без конца поле из пулеметов и минометов, красноармейцы сумели незаметно подобраться к деревне и выбить из нее врага. После этого началось: ночью в Валышево свои, днем — фашисты, продвинуться дальше сил ни у тех, ни у других не хватало, и оказалась деревня непредсказуемой волею

военной судьбы на самом острие двух сражающихся армий.

В одну из таких ночей Гришка пристал к матери.

— Долго мы тут сидеть будем? Уходить надо!

— Ку-да-а?

— В тыл, к своим, куда еще?

— Чего надумал? Не слышишь, какая пальба идет?

— Слышу. И жду, когда в нашу водогрейку снаряд попадет.

— Типун тебе на язык, окаянный! Чего опять надумал? Чего надумал? Ты знаешь, где свои, а где немцы. Пойдем и попадем в лапы к черным шинелям.

— Узнать можно.

— Уз-на-ать. Засиделся дома, паршивец, погулять тебе захотелось. У кого маленьких нет, тем можно счастья попытать, а куда мы со своей оравой сунемся и где жить будем?

Гришка не уступал:

— Землянка везде найдется.

— Летом бы куда ни шло, а в такой морозище? Застудим всех, а Тамару можно и не брать, так, по-твоему?

О самой маленькой, родившейся недавно сестренке Гришка не подумал, и это его озадачило, но и сдаваться не хотел:

— Укутаем получше — не замерзнет.

— Сиди уж, слушать тебя не хочу.

— Ну и не слушай. Я один уйду.

— Скатертью дорога! Иди, если маленьких не жалко, — отрезала мать.

Сестренка и младшего брата Гришке было, конечно, жалко, и он только пугнул мать, но у нее кое-что еще в запасе было:

— Неужто не веришь, что погонят немцев? В армию нашу не веришь?

Гришка озлился — вон куда хватила! Срывающимся на крик голосом дал отпор:

— Верю, но когда, когда? Летом тоже освобождали.

— Летом у наших и сил было всего ничего, да и не отступили бы, поди, если бы не чертовы самолеты. Тогда один день продержались, а нынче вон сколько. И самолетов немецких не видать,— видно, посбивали все.

— А если утром снова фрицы в деревню придут?

— Тебе в лоб, а ты по лбу. Поговори с таким!

Гришка знал, что сразу мать не проймешь, и замолчал. «Завтра снова заведу о том же, потом еще и еще, пока не уговорю»,— решил мальчишка и, наверно, добился бы своего, если бы немцы по-другому не распорядились.

Утром они снова, который уже раз, заняли деревню. А все эти дни люди питались кое-как, с сухарей на воду перебивались, и самые младшие будто осатанели. Без конца путались под ногами, лезли на глаза, ревели и просили есть, а на улицу не высунешься, даже за дровами — там бой идет, там смерть сотнями пуль с той и с другой стороны носится. Мать и ругалась уж, и шлепала чем попадется, и упрашивала помолчать — ничего не помогало. Чуть поутихло только к вечеру, и мать сказала:

— Иди приготовь им кокорики — не отстанут ведь.

Долгожданные слова были произнесены, и наступила тишина. Все стали следить, как старший бережно, стараясь не уронить и малого, насыпает в тазик муку, добавляет щепотку соли, замешивает крутое тесто, раскатывает сочни и, наконец, прихватив жестянку, на которой пекли оккупационные лепешки, уходит на улицу разжигать костер.

Подсушенная у печки, береста вспыхнула сразу, от нее занялись уложенные шалашиком мелко наколотые дрова и сучья, затрещали, обдавая жаром. Увлеченный делом, мальчишка не заметил, как подошел солдат, чуть помедлил, удивляясь, что застал русского за таким неподходящим занятием, и поддал носком сапога по жестянке.

ке, на которой подрумянивался первый кокорик Гришка вскочил на ноги. Солдат что-то лопотал, показывая рукой на Гусино. «Выгоняют!» — догадался парнишка и побежал к матери:

— Дождались! Велят уходить!

Он мог сказать и больше: в водогрейке останется закопанное зерно, которого им хватило бы на всю зиму, в дальнем краю колхозного овощехранилища — картошка, сколько с него потов сошло, пока выкопал для нее глубокую яму, перетаскал и закопал, хорошо заскировал, в овраге, тоже в земле, останутся и пропадут самые ценные вещи, которые удалось уберечь от пожара и можно обменять на еду. Все пропадет, все, они сумеют унести с тобой лишь мешок муки, весом чуть больше пуда.

Мать думала о том же. Она знала, что фашисты два раза приказания не повторяют, перекрестить из автомата человека, а то и всю семью, им ничего не стоит, но сидела, отрешенная от всего на свете, бесконечно долго, пока не спохватилась:

— Что же это я рассыпалась? Собирайтесь давайте

Все были в зимней одежонке, но пока укутали маленьких платками и тряпками, пока похватали, что попало под руку, оказались последними в разномастной и темной веренице односельчан. Припозднилась из-за своего упрямства и Пушкариха. Пошли вместе.

Начало смеркаться. Набирал силу вечерний бой. Снаряды рвались и за спиной, в Валышево, и впереди, в Гусино, и еще дальше. Пули свистели над головами, поднимали бурунчики снега, но доведенные до отчаяния люди не клонили голов и не падали даже при близких разрывах снарядов. Привыкли

На дороге попадались трупы убитых днем и еще не прибранных немецких солдат Люся, малышка, прошла мимо двух или трех, потом стала останавливаться:

— Мама, они спят?

— Спят

— Я тоже хочу.

— Холодно, дочка. Замерзнешь,— хваталась мать за первое пришедшее в голову возражение.

— А почему им не холодно? Как они спят?

— Иди, не рви мне душу.

— Почему они спят, а мы должны идти. Я есть хочу! Есть и спать! Слышишь?

Маленькая Люся не знала, что такое смерть, и стояла на своем, объяснять ей, что к чему, было не время, и мать, плотно сжав губы, лишь подгоняла ее.

Позади что-то заскрежетало. Оттуда понеслись огненные стрелы и одна за другой, часто, как пулеметная очередь, стали рваться на Старорусской дороге. Что-то горело в Валышево, может быть, последние ее дома, в Гусино, в Евдокеино, в Горушке, Утушкине и где-то еще. Но в деревнях, можно было догадаться, пылали отдельные дома, там же, где упали огненные стрелы, будто кто разлил керосин и он вспыхнул разом, пламя со зловещим гулом все расширялось, поднималось вверх, словно пыталось спалить не только землю, но и само небо. Оторвать глаза от этого диковинного зрелища было невозможно.

Деревня Гусино была пуста. Ее жителей выгнали раньше, а куда, спросить не у кого. Снаряды же рвались и здесь, пули носились роями, и Гришка потянул мать и Пушкариху к реке, где были построены землянки,— в них от снарядов укроются. И другое было на уме: если красноармейцы хоть на час возьмут Гусино, он уведет семью в свой, а не в немецкий тыл. Теперь-то уж мать вряд ли станет с ним спорить.

Землянок было много. Выбрали небольшую, чтобы не понадобилась она зачем-нибудь фашистам. Прижались там друг к другу.

В «Чапаеве», размышлял мальчишка, в деревнях отдыхали, обсуждали планы будущих боев, пели, а вое-

вали на полях. Кронштадтцы дрались с беляками тоже в поле. Стал вспоминать другие фильмы, и в них окопы, колючую проволоку, рогатки копали и ставили не между домами. И в старину: Александр Невский сражался с крестоносцами на льду Чудского озера, Петр Первый со шведами — на равнинах. Кто кого в битве на поле одолеет, тот и города берет — такой представлялась мальчишке война по фильмам и книгам, а оказалась совсем другой. Летом, вместо того чтобы атаковать красноармейцев, фашисты бросили против них самолеты, и те разбомбили деревню. Зимой война снова в селениях идет, на их окраинах роют окопы и строят дзоты. Если так везде, то скоро ни одной деревни не останется. Где же жить-то потом, пустыня кругом будет.

Бой продолжался всю ночь, и всю ночь, сидя колени в колени, они протряслись от холода, голода и страха, что заглянет какой-нибудь приبلудный немец в землянку и полоснет из автомата. А утром пришла новая беда пропала Муська. Мать привязала ее в самом низу, у реки, чтобы убереечь от пуль, рядом с соседской. Корова Пушкарехи стояла на месте, Муська исчезла.

— Привязала, поди, плохо, вот и сбежала, — проворчал Гришка.

Мать не отозвалась. Может, и так, а может, немцы забрали и сожрут ее!

— Ладно, не переживай. Что уж теперь? Уходить надо, — напомнил Гришка.

— Поискать бы, да, пожалуй, так поищут, что не опомнишься. И как мы теперь зиму протянем? На новом месте нам без сена Муську бы не сохранить. Думала забить ее, на мясо вся надежда была.

Гришка промолчал. Утешить мать было нечем.

Январский день занимался ясным и холодным. В узких берегах Полисти, а идти дальше надо было по реке, ветер едва не сбивал с ног. С мешком муки Гришка шел первым. За ним старшая из сестер — Настя — тоже с меш-

ком, набитым всякой домашней утварью. Девятилетняя Нина несла кое-какую поклажу. Миша, Галя и Люся шли налегке, и хорошо, что хоть как-то передвигали ноги. С тяжелым мешком за спиной и Тamarой на руках шествие замыкала мать. Гришка убегал вперед, сбрасывал с плеч свой груз и шел назад, чтобы забрать мешок матери. Раз десять так сходил и выдохся. Мать отдала ему Тamarу, а прошли еще с километр, отказалась и от такой помощи:

— Кто знает, сколько нам еще топать, а муку ты должен донести, Гриша.

Она понимала, что пуд муки не спасет семью, но месяц-другой с ней продержатся, а там, может, и освободят. На что-то же надеются, раз начали наступление?

Корова Пушкарихи голодно мычала и рвалась вперед, — видно, думала, что хозяйка ведет ее куда-то кормить.

— Как думаешь, Мария, освободят нас? — спросила мать.

Пушкариха искоса зыркнула на нее, хотела сказать что-то резкое и ехидное, но сдержалась:

— Освободят, только когда?

— Ты иди вперед. Что тебе мерзнуть с нами? — предложила мать. Она и разговор начала, чтобы сказать это. — Иди, иди — вы нам не попутчицы, — кивнула на корову.

Пушкариха прикусила губу, не зная, что ответить, но корова сама потянула ее вперед, и соседка, безнадежно махнув рукой, пошла за ней.

Впереди показалась деревня Горушка. Думали передохнуть там, однако промерзший на ветру часовой махнул автоматом — идите дальше. Мать в отчаянии протянула вперед руки с Тamarой, руками же показала, что надо перепеленать ребенка. Часовой понял ее, но снова махнул автоматом, а потом и направил его на мать.

Остановились за поворотом реки. Мать сбросила мешок, положила на него Тamarу. Все сгрудились, чтобы

защитить маленькую от ветра. Быстро, как она все делала, мать перепеленала осипшую от крика и посиневшую от холода девочку.

Прошли еще немного, и упала, мгновенно заснув, Люся. Мать присела рядом и стала смотреть куда-то вдаль, но долго отдыхать не дала:

— Придется тебе снова взять Тамару— сказала старшему,— а Люську давай мне на загорбок.

— Не утащишь столько!

— Как-нибудь. А ну, поднимайтесь, поднимайтесь, ишь развалились!— закричала на остальных.

Гришка снова шел впереди, чувствуя, как с каждым шагом тяжелеет мешок, все сильнее впиваются в плечи его лямки и оттягивает руки невесомая Тамара, как коченеют и скрючиваются пальцы, стынет, наливаясь холодной тяжестью, тело. В начале пути, бегая туда и обратно, он вспотел. Теперь ему казалось, что ледяной ветер морозит даже сердце.

Позади мать кричала на Галю, заставляя подняться. Чтобы оглянуться, надо останавливаться. Он не стал этого делать — пока есть силы, надо идти, чтобы не замерзнуть и не умереть на реке.

«Не замерзнуть — не умереть! Не замерзнуть — не умереть! Не умереть! Не умереть! Не умереть!» — как заклинание, твердил то ли про себя, то ли вслух Гришка, отмеривая шаг за шагом и все больше сгибаясь и коченея. Он шел долго, не всегда сознавая, что делает. Мать гнала за ним остальных, пока старший не остановился.

— Что случилось?— спросила мать взглядом.

— Надо перепеленать,— прохрипел мальчишка, передал матери Тамару, расцепил обвившие шею матери руки Люси и поставил сестренку на землю.

Мать снова быстро и ловко перепеленала младшую — Отдохнем?— попросил Гришка.

Вместо ответа мать прижала к себе Тамару и опустилась с ней на мешок. Все мгновенно пристроились к ней

и заснули. И Гришка уснул. Мать еле растолкала его, чтобы помог будить сестренку и Мишу. Маленькие ревели и не хотели идти. Они заставили их подняться и погнались вперед.

Солнце поднялось высоко и светило ярко, но не грело. На реке по-прежнему бесновался ветер. Надежды дойти до какого-нибудь селения почти не было, но они шли — мать не давала остановиться и на минуту.

На берегу у деревни Дедова Лука часового не было. Какая-то женщина помогла подняться в гору и повела в дом. Деревня оказалась небольшой и почти целой. Из труб валил дым.

— Проходите, проходите — обогрейтесь, заморите червячка с дороги, — распахнула перед неожиданными пришельцами дверь женщина.

На улице она показалась Гришке толстой. В доме, скинув полушубок, безрукавку и несколько старых кофт, стала хрупкой и костлявой. Особенно подчеркивали удобу хозяйки большие и ровные зубы. Волосы у нее были соломенного цвета, и все выглядывающие с печи ребятишки тоже были светлоголовыми.

После мороза и ледяного, промозглого ветра в сухом, протопленном с утра доме младшие Ивановы начали распахиваться и тут же пустились в дружный рев — заныли в тепле перемерзшие, посиневшие ручки-палочки. Пока растирали их, хозяйка вытащила из печи и поставила на стол большой чугунок, миски и стала разливать щи.

— Колхозная капуста под снег ушла, из нее и варю. Вы ешьте, ешьте, я еще налью, кому не хватит.

В другое время из одной деревенской деликатности миски для добавки в чужом доме постеснялись бы тянуть, а тут щи такими вкусными показались, что обо всем забыли. За едой один по одному и засыпать начали.

— Вот гости-то какие оказались, — сокрушалась мать. — Что же мне делать? Не разбудить ведь?

— Пусть спят. Постелю на полу, кучкой и улягутся,— сказала хозяйка.— Переночуете, а завтра в бане вас устрою — сама видишь, у меня семеро по лавкам,— ее лицо приняло скорбное и извинительное выражение.

— Я понимаю,— поспешила согласиться мать.— В баньке нам хорошо будет, и вас стеснять не станем. Вот только отблагодарить нечем...

— О чем ты?

На другой день перебрались в баню. Она была сделана по-черному. Чтобы протопить ее, приходилось всем выходить на улицу, но стены были, крыша над головой — тоже, что еще надо? Снаряды не рвутся, пули не щелкают — благодать! Однако убежавший разыскивать поле, на котором осталась капуста, Гришка вернулся расстроенным:

— Тиф какой-то в деревне!

Мать всплеснула руками:

— Этого еще нам не хватало! Да как же так? Мы в земле жили, и то до этой заразы не дошло, а здесь в тепле тиф развели. Сыпняк, что ли? — спросила у Гришки.

— Животами маются.

— Брюшняк, значит. Ну попали из огня да в полымя, а я-то радовалась.

— Послушала бы меня, так...

— Замолчи! Еще раз попрекнешь, не знаю, что с тобой сделаю!

«Молчи, замолчи!» Когда взрослые не правы, сомневаются или не могут что-то толком объяснить, они так и прерывают неприятный для них разговор. И молчишь — куда денешься? А сами порой что делают? Летом собрались уходить — и вернулись. Пока на второй заход поднялись, немцы впереди оказались. И зимой, когда Валышево переходила из рук в руки, двадцать раз можно было избавиться от немецкой каторги. Сказал матери об этом, так какой крик подняла. Военные тоже хороши. Скомандовали — так никто бы и рта не раскрыл, и все

бы свободными были. Не находил Гришка ответы на мучившие его вопросы ни раньше, ни теперь. Не знал он и не понимал, что много бед совершается из-за того, что люди продолжают надеяться на лучшее до последнего своего вздоха, не знал и того, что к таким неистовым иногда и приходит избавление от несчастья, а то и спасение.

8. БЕЗНОГИЙ

Тамару застудили. Покашляла она несколько дней, помаялась в горячечном бреду — и затихла.

Мать обмывала умершую, забыв выгнать на улицу маленьких и не замечая их немых ртов, копившегося в глазах ужаса и непонимания. Лицо ее было сосредоточенно и горестно, руки деловиты. На Тамару не скатилась ни одна слезинка — если бы все дети, которых мать выносила под своим сердцем, выжили, их было бы пятнадцать. Умирали в мирное время, в тепле и сытости, а уж тут, как говорят, сам бог велел.

Из чужих досок, чужим молотком Гришка сколотил маленький ящик, в него положили Тамару и отнесли в соседнюю деревню Великое Село, где было кладбище. Гришка ломом выдолбил небольшую ямку, лопатой выкидал из нее мерзлую землю и снег, еще чуть углубил, и в этой ямке, на чужом кладбище, о чем больше всего горевала мать, предали земле не успевшую сказать и слова младшенькую.

С первого дня на новом месте пошла в котел капуста. Она, пусть и мороженная, хороша на заправку, а если варить без конца и краю одну капусту, добавлять к ней всего лишь несколько ложек муки, такое варево даже голодному не на радость. Желудок вздувается, тяжелеет, а есть все равно охота, хочется хлеба, картошки, каши, репы, чего угодно, кроме осточертевшей капусты.

Как-то ночью, приняв гумно, в котором фрицы держали лошадей, за склад боеприпасов, наш летчик сбросил

на него бомбу. Убитых лошадей немцы оттащили в поле и бросили. Появилось мясо. Притащат мать или Гришка кусок, не уследят, так кто-нибудь схватит сырое — и в рот. Из чугуна, еще не проваренное, выхватывали и глотали; не прожевывая, чтобы не отобрали. Маленькие оживали, кричали и даже дрались при виде еды. В остальное время были ко всему равнодушны, не разговаривали, не смеялись и даже не плакали. На их тусклые, как у стариков, глаза, поникшие головы и молчаливые рты было страшно смотреть.

Поговорку о том, что голодному все лепешки снятся, Гришка слышал давно, но смысл ее понял лишь в Дедовой Луке, где большую часть дня, чтобы сохранить силы, все лежали, грея желудки поджатыми к ним коленями, не в силах избавиться от видений только вытащенных из печи духовитых буханок хлеба, пышущих жаром высоких горок блинов, полных кринок молока и сметаны, желтых, поблескивающих на солнце кусочков масла. Мать запрещала говорить о еде, но и сама иногда не сдерживалась и начинала вспоминать, как пекла пироги, жарила баранину, свежую печень, почки, грибы, сало. Гришку сводили с ума закопанные в Валышево сухари. Он думал о них целыми днями, они снились ему длинными зимними ночами, и чудилось, что сухарей осталось много и, если их принести, семья будет сыта целый месяц. Может, даже больше. Конечно, больше, если сухари не грызть, а брать в рот и ждать, пока они растают. И потому, когда в баньку зашел председатель колхоза и предложил сходить за едой в Валышево, в глазах мальчишки зажегся азартный огонек. Мать протестовала:

— Чего надумал, Никифор! Приспичило, так иди, а Гришку не отпущу! Связался черт с младенцем!

— Напрасно ругаешься, Мария, я же не неволю, — покладисто сказал председатель и, согнувшись в дверях пополам, вышел.

Гришка — за ним. Всегда ли в его возрасте, когда и самостоятельность появляется, и убеждение в собственной безопасности не подвергается сомнению, слушают матерей?

Пошли. Большую часть пути миновали благополучно. Належке шагается быстро, и время в разговоре летит незаметно.

Перед Гусино, справа, показалась группа фашистских солдат в белых маскировочных костюмах. Остановились, посмотрели на Гришку и председателя, но стрелять не стали.

— Разведчики! — тихо, будто его могли услышать, сказал дед Никифор. И еще тише: — Не повернуть ли нам восвояси?

Мальчишка подумал о том же, да сухари опять словно увидел, запах их почувствовал, забытый вкус размягченного в кипятке хлеба и, сглотнув голодную слюну, упрямо затряс головой:

— Нет, дед Никифор, мне обязательно надо дойти до Валышево.

Председатель потоптался на месте, однако пошел за ним.

Снег близ Гусино весь в черных пятнах свежих воронок, между ними виднелись трупы немцев и красноармейцев.

— Вот оно как! — снова остановился дед Никифор. — Брали, выходит, но опять не удержались. Эх ты, мать честная!

Дома в деревне стояли непривычно редко. На месте двух свежих пожарищ в солнечное небо вились серые клубы дыма...

— А вдруг наши еще в Гусино? Давай посмотрим, а? — нетерпеливо ухватил за рукав председателя Гришка.

— Скорее, на немцев нарвемся.

— Так не видать же! Пошли, пошли, дед Никифор. Не бойся.

Они поднялись от реки к началу улицы, и тут из-за угла показались два эсэсовца в черных шинелях, с автоматами на груди. Встреча была неожиданной для тех и других. Замерли на месте председатель и Гришка. Остановились эсэсовцы — откуда здесь русские, почему? Тот, что повыше ростом, впился в мальчишку острым взглядом, поманил к себе. Гришка поднял глаза на председателя — подойди ты, ты же взрослый! Эсэсовец понял его намерение:

— Найд! Кнабе! Кнабе!

Мальчишка не шевельнулся. Взбешенный неповиновением эсэсовец пружинисто подошел сам, ткнул автоматом председателя — отойди! — что-то отрывисто заговорил, тыча пальцем поверх головы мальчишки. Выхватил из ножен кинжал. Гришка втянул голову в плечи, зажмурил глаза. Почувствовав под носом что-то шершавое и холодное, разомкнул веки — фашист тыкал в лицо отрезанной шишечкой красноармейского шлема, который он, убегая из дома, натянул на голову вместо шапки... Снова замелькал перед глазами кинжал, задергался из стороны в сторону, вверх и вниз великоватый для Гришкиной головы шлем.

Как фашист ухватил его за шиворот, как он скользил по льдистому снегу, обдирая в кровь руки после крепкого пинка, мальчишка узнал от председателя, когда пришел в себя и увидел, что на нем нет меховых рукавиц.

— Так фриц же забрал. Не помнишь разве? — перехватив взгляд мальчишки, сказал председатель. — Шлем ему твой не понравился, из-за него все получилось. Ты-то ладно, а я, старый дурак, почему не подумал об этом? Посмотри, что он со звездочкой сделал.

Гришка стянул с головы шлем. Зеленая звездочка на нем была перерезана крест-накрест и наполовину ободрана.

— Пойдем-ка обратно, ну их к шуту, — сказал председатель.

— П-пойдем,— согласился мальчишка,— т-только отдышусь маленько.

Дрожащими руками он натянул шлем, кое-как застегнул пуговицу и стал ждать, пока пройдет страх. Он начинался почему-то всегда в животе, потом подкатывал к горлу, туманил голову.

— Вставай, хватит сидеть,— подогнал дед Никифор.

Мальчишка поднялся. Страх еще не прошел, но он уже мог преодолеть его.

— Дед Никифор, мне на свою деревню взглянуть охота,— протянул Гришка совсем по-детски.— Хоть одним глазком!

— Ну и неумный же ты!— рассердился председатель.— Ладно, посмотри, а я здесь подожду. Ноги, понимаешь, вроде как судорога стянула.

Гришка стал подниматься улицей в гору и у дотлевающего дома увидел красноармейца. Он палкой подгребал к себе угли. Обе ноги бойца были оторваны. Сквозь тряпки, которыми были замотаны обрубки, проступала кровь.

— Вы ранены?— спросил Гришка.

— А ты не видишь?

Старое лицо красноармейца было худым и черным. Глаза лихорадочно блестели. На скулах бугрились желваки.

— Как же вы теперь?

— У угольков не замерзну, а ночью уползу к своим.

— А где они?

— Сходи и посмотри,— на что-то рассердившись, сказал раненый.

Гришка эти слова воспринял как приказ и побежал в гору. Взбежал наверх, не таясь, и сразу упал, пополз обратно от засвистевших над головой пуль. Красноармейцы окопались совсем недалеко, за шоссе, а в Валышево были немцы. Рассказал об этом раненому. Тот выругался:

— Вернусь, я им, сволочам, покажу! Взяли деревню, так зачем драпать? Добегались уже, хватит!

Вернусь... Это еще когда будет, а мальчишку интересовала сиюминутная судьба красноармейца, и он спросил:

— Немцы вас видели?

— А куда я от них спрячусь?

— И в плен не забрали?

— На кой черт я им такой нужен? Решили, что я без них сдохну.— Раненый говорил тяжело, с хрипом. Передохнув, продолжал:— А я до-тя-ну-у до вечера и уползу-у!— Заметив в глазах Гришки сомнение, угрожающе произнес:— Ты вот что, парень, не смотри на меня так и иди туда, откуда пришел. Нечего меня раскиселивать.

— Я хочу помочь вам,— потянулся мальчишка к безногому.

Тот рассердился еще больше:

— Чем? Чем ты мне поможешь? Уйди, ради бога, с глаз долой!

Безнадежное положение раненого оттеснило собственные злоключения. Гришка понимал, что безногому может помочь только врач, но все равно чувствовал какую-то и свою вину перед беспомощным человеком, которого он покидает, вынужден покинуть, не оказав никакой помощи. Вернулся к председателю хмурым, долго шел молча, потом спросил:

— Дед Никифор, человек может жить без обеих ног?

Председатель покосился на мальчишку — с чего его на такое-то понесло?

— Живут. Без ног и без рук маются, и смерть их не берет. А ты к чему это спрашиваешь?

Он рассказал о встрече с безногим. Раньше что-то мешало это сделать, а что, и сам не мог понять. Председатель крикнул и потряс кудлатой головой:

— Этот не жилец.

— Как это не жилец? Почему?— не захотел поверить мальчишка.

— Выживают те, кому операцию сразу сделают, кровь остановят да в теплую постельку уложат, а со жгутами столько времени...

— С какими еще жгутами?— не дал договорить председателю Гришка.

— Выше раны ногу или руку туго перевязывают, чтобы кровь не текла. Слышал я, часа три этот жгут держать можно, потом все, конец.

В этот вечер Гришка долго не мог уснуть и все твердил про себя: «Останься живым, пусть не убьют тебя немцы, доберись до своих, и тебя спасут, не могут не вылечить такого человека». Мучился, что никогда не узнает, уцелеет безногий или умрет, как думал дед Никифор, и спал плохо. Мать несколько раз толкала под бок:

— Что кричишь, будто тебя режут?

Отговаривался:

— Не знаю. Сон, видно, страшный приснился,— а какой, не говорил.

Испорченный кинжалом эсэсовца шлем он от нее утаил, деда Никифора попросил ни о чем не рассказывать, чтобы меньше было разговоров, когда снова соберется в Валышево за сухарями.

А снился ему всю ночь безногий красноармеец.

9. ГИБЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СМЕРТЬ МИШИ

В Дедовой Луке и окрестных деревнях продолжал свирепствовать тиф. И не одна мать, многие удивлялись, почему он так разгулялся в тылу, а в Валышево, на самой, можно сказать, передовой, никаких болезней не было, и шутили: «Тиф не дурак, под пули и снаряды лезть не хочет».

Чтобы избежать эпидемии, мать решила возвратиться

домой, но недалеко от Валышево их остановили и приказали идти назад.

Во время сильных боев на берегу Полисти фашисты построили запасную линию обороны с огневыми точками, окопами и землянками. В одну из них мать решила зайти погреться. Растопили печку, разомлели и остались ночевать, а утром заболела Галюшка. Второй слегла Люся, за ней Настя и Нина. Занемог и Гришка.

По дымку из трубы немцы определили, что в землянке кто-то живет. Прискакал патруль. В дверь просунулся немец. Мать, а болезнь начала донимать и ее, подняла голову и тихо сказала:

— Тиф у нас. Тиф. Хочешь, так стреляй.

Так и сказала в отчаянии, не заботясь, как отнесется к ее словам фашист и что сделает. Он окинул взглядом лежащих, задержал его на Гришке — не партизан ли, и попятился. Слово «тиф» немцы знали хорошо и больше не приходили — эти русские обречены.

Они и на самом деле были обречены, но каким-то чудом выжили, стали поправляться. Первой пересилила себя и поднялась мать. За ней встал Гришка и скоро, на этот раз по разрешению матери, пошел в Валышево за сухарями.

Отправился вечером, чтобы пробраться в деревню незаметно. На месте их водогрейки фрицы построили землянку. У самого входа в нее лежал труп красноармейца.

Летом, во время бомбежки, шофер в синем комбинезоне подбежал к родничку набрать воды и попал под бомбу. Покорчился недолго на земле, пожаловался: «Ой, мамочка, как мне больно!» И затих.

Гришка похоронил убитого на другой день.

И вот еще один. Почти на том же месте! Гришка перевернул труп на спину, чтобы не попортить лицо, стал тянуть за ноги. Тяжелый. Передохнул. Снова взялся. По сантиметру, по два дотянул до воронки, спустил вниз и

присыпал снегом (позднее он похоронит красноармейца по-настоящему).

Сначала упаренному и обессиленному Гришке в землянке тепло показалось, но скоро озноб стал пробирать, а на нарах солома, под ногами доска валяется. Стал ее поднимать — во что-то жесткое плечом ткнулся. Пощупал — печка-буржуйка. Доску ногами переломил, а когда разжег печку, кучку дров увидел. Может, и еда какая после немцев осталась? Все обшарил — пусто.

Еда нашлась утром. Едва вышел из землянки, на кучку зерна наткнулся. Осенью по настоянию матери, — сам хотел в другом месте спрятать, — закопал в водогрейке три мешка зерна. Роя яму для землянки, немцы повыбрасывали его вместе с землей. По горсточке несколько фунтов насобирал. На первое время хватит, а начнет подтаивать снег, сестренки всю землю вокруг сквозь пальцы пропустят и еще насобирают. Если сохранились сухари и картошка, то и совсем ладненько будет. Гришка окинул взглядом собранное зерно, бросил в рот еще одну горсточку и сказал себе — больше не буду!

И в другом повезло: еще раньше вернулся в деревню председатель и жил в подвале своего разбитого дома. Он тоже обрадовался мальчишке. Новости, однако, у деда Никифора были плохие. Не все, оказалось, покинули деревню в январе. Несколько семей остались в землянках на берегу реки и отсиживались в них, пока не кончились запасы еды. Первой решила сходить в деревню молодая женщина Анна Немахова. По ней открыли огонь из пулемета и убили.

— А есть-то что-то надо было, — продолжал председатель. — С голодухи все пухнуть начали. Отец моей Ольги в Ивановское направился с иконой на груди. Дескать, разглядят фрицы в свои бинокли боженьку и не станут палить — верующие как-никак. И что ты думаешь? Так стрельнули, что от иконы щепки полетели, а ночью пришли к землянкам, гранаты в них побросали,

из автоматов в двери постреляли. Бригадир Матвей Иванов как-то уцелел. В руку его ранили. Вот такие, брат, дела,— подвел невеселый итог дед Никифор.

— А вас почему не трогают? И меня — тоже. Видели утром, но даже не заругались,— спросил Гришка.

— Сегодня не трогают, а завтра, один леший знает, что им в голову взбредет

— Так уходить надо.

Председатель ответил не сразу:

— Уходи, пожалуй, а я останусь. Надоело мне, как бездомному волку, туда-сюда мотаться. И не верю, что смерть обмануть можно. Что кому на роду написано, то и будет. Поживу еще немного, присмотрюсь, что к чему, да и за Олюшкой своей сбегаяю.

— И я сухари отрою, отнесу своим и вернусь,— пообещал парнишка.

— Подумай, Гриша, тебе еще жить да жить...

— Это, если бы войны не было, а теперь мы на равных.

Председатель удивился:

— Ишь как рассудил! Так на свое вывел, что мне и крыть нечем. Тогда сходим на Губернию — там наша кухня стояла, может, пожевать что найдем.

Губернией в деревне называли поле у реки. Его хорошо видно и из Валышево и из Ивановского. Анна Немахова шла по нему в Валышево, отец жены председателя — в Ивановское. И обоих застрелили. Зачем же туда соваться?

— Я немного зерна насобирал, может, сварить? — предложил Гришка.

— Вари, а я пойду,— отрезал дед Никифор.

Он был какой-то непонятный сегодня. То и дело вскакивал, ненужно суетился, руки все что-нибудь гладили или мяли. Глаза казались колючими, что-то высматривающими из-под лохматых бровей. Не нравился мальчишке дед, еще больше не нравилось его желание идти на

поле: «Вари, а я пойду», — сказал председатель. Обыкновенные вроде бы слова, а в голосе осуждение: «Оставайся, если боишься». Если по-честному, то Гришка и на самом деле боялся, но поднялся и пошел с дедом Никифором.

Близ деревни и дальше на поле всюду валялись занесенные снегом трупы. Много тут было и моряков в черных бушлатах.

— Они-то как здесь оказались? — спросил у деда.

— Морская пехота, — не очень понятно объяснил председатель.

Место, где стояла кухня, нашли без труда, но там валялся лишь брошенный кем-то котелок.

— Вот, говорил же, — упрекнул Гришка деда.

— Говорить-то говорил, да не о том думал. Не стреляют же, — присматриваясь к новым валенкам на убитом красноармейце, недовольно ответил председатель. — Сниму-ка я их — мои совсем прохудились.

— Не надо! — вскричал Гришка. — Нехорошо это!

— Почему? Мертвому они не нужны, а у меня ноги больные, их беречь надо. Помоги стянуть.

— Нет! Ни за что!

— Ну и не надо. Без тебя управлюсь.

Мальчишка отошел в сторону и отвернулся, чтобы не видеть постыдного, по его разумению, дела, а дед Никифор разохотился и, добыв одну пару валенок, стал стягивать другую. Гришка снова пытался его остановить, но председатель отмахнулся:

— Не твоего ума дело. Сходи лучше на фрицевскую кухню, она за дальним концом деревни в леске стоит, и попроси кофейку.

Гришка недоверчиво посмотрел на председателя:

— А дадут?

— Кто знает, мне один раз целый черпак плеснули. Повара — добрее солдат. Дуй напрямик, а я обратно оврагом пройду, пошукаю чего-нибудь съестного.

Клянчить у немцев кофе мальчишке не хотелось, но и деда послушаться не посмел. Решил, что один раз попросит, а дожидаться черпака по голове или пинка под зад не станет. Один раз и попросил. Повар согласно кивнул головой и налил котелок почти до краев. Мальчишка сказал спасибо и осторожно, чтобы не расплескать драгоценный напиток, понес его в подвал.

Дед Никифор еще не вернулся, а от кофе шел такой запах, что Гришка не удержался и отпил два больших глотка. Устыдился этого и тут же успокоился: вернется дед, он скажет ему, что отпил немного, и председатель нальет себе больше, чем ему. Так будет по-честному.

Дед где-то задерживался. Мальчишка подбросил несколько полешков в еще не остывшую печь, поставил на нее котелок и стал ждать. Сначала сидел возле печки, потом ушел в дальний угол подвала. Там было холодно, но дразнящий запах горячего кофе почти не доходил. Не очень долго повздыхал, поерзал на каком-то ящике и поднялся, чтобы выйти и посмотреть, не идет ли дед. В дверях едва не столкнулся с его дочерью.

— Татенька дома?

— Сейчас подойдет, а у вас что-то случилось? — в свою очередь спросил Гришка, заметив волнение женщины.

— Мама тифом заболела!

— Погрейтесь у печки, я сбегаю.

— Я сама. Где его искать?

Он рассказал, как они ходили на Губернию и почему разошлись на обратном пути.

— Если придет без меня, пусть подождет. Я быстро, — наказала дочь председателя и ушла.

Она была учительницей немецкого языка и с довоенных времен жила в Дедовой Луке. Парнишка там и узнал ее, и он удивился, что она нервничает: тифом почти все переболели, что психопатить-то из-за этого? Отца почему-то татенькой зовет. Чудно! Пока раздумывал об этом, с улицы донесся крик:

— Гриша, Гриш, татеньку убили!

Выбежал из подвала:

— Как убили? Когда?

— Слышал, стреляли? Это в него. Что теперь делать? Что делать? Мама больная, ей и рассказать нельзя... Гриш, я с санками пришла. Пойдем привезем татеньку.

Дед Никифор лежал в овраге недалеко от немецкого дзота, опрокинутый навзничь. Густая борода задрана вверх, глаза открыты, но не моргают. Умер уже! Гришка покосился на зрачок пулеметного ствола, все еще направленного на убитого.

— Нас не застрелят?

— Я спрашивала — разрешили увезти.

Два немца вышли из дзота, помогли вытащить сани из оврага...

Ночевал мальчишка в своей землянке — дочь деда Никифора попросила не топить в подвале:

— Пусть там пока лежит, а как и когда хоронить будем, ума не приложу.

А у Гришки не выходили из головы слова деда Никифора, сказанные утром: «Что кому на роду написано, то и будет». Он и соглашался с ними и опровергал. Не пояись он, Гришка, в деревне, председатель мог и не решиться пойти на Губернию. Не найди они котелок, дед не послал бы его на кухню, они возвращались бы оврагом вместе... И что тогда? Убили бы обоих? А вдруг нет? Окажись в дзоте какие-то другие солдаты, дед тоже мог остаться живым. А эти-то почему стреляли? Видели же, что идет старый человек, никакого оружия у него нет, одни валенки. Неужели из-за них застрелили? Валенки около деда, когда они подошли к нему, уже мертвому, не было. Значит, забрали. А если бы шел без них? Ни за что убили человека, а потом помогли вытащить тело из оврага. Это как понять?

Забылся мальчишка под утро и спал бы долго, да мать разбудила и огорошила новой бедой:

— Миша умер, решила его дома похоронить.

Лицо ее осунулось, стало совсем черным, и вся она казалась сухонькой и маленькой старушкой.

— Миша умер? Почему? Почему он умер?— дернулся Гришка к матери.

Она посмотрела на него отсутствующим взглядом и напонила:

— Так болел...

Мать уже приняла эту смерть, для Гришки же она была полной неожиданностью. Опять «на роду написано»? Он даже не попрощался с Мишей, а наорал перед уходом из Горушки. «Замолчи! В ушах звенит от твоего крика!»— вот такими были его последние слова брату.

— Сделай гробик. Завтра похороним,— приказала мать, а когда потрясенный случившимся Гришка упал на нары и разрыдался, прикрикнула:

— Замолчи! В ушах звенит от твоего крика!

Помнит, помнит все и уко-ри-ла? Да нет, это ее любимое выражение, бессознательно повторенное им, как и многие другие, привычные с малых лет.

Мишу похоронили на Ивановском кладбище. Недалеко от церкви Гришка нашел небольшую воронку, углубил, и стала она могилой его единственного брата. Когда-то давно слышал мальчишка, как бабка Мотаиха поучала внуку: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем». И с утра, пока сколачивал гроб, позднее, когда шли на кладбище, и еще позднее, когда углублял могилу, не выходили эти слова из головы. Такой славный и добрый, совсем не вредный, как у других, был братишка и так тянулся к нему, старшему, а он все отмахивался: «Отстань! Некогда!» Зимой прошлого года застал Мишу с топором в руках — брат мастерил себе лыжи. Помочь бы ему, а он посмеялся — куда тебе, не в свои сани са-

дишься! Миша лыжи сделал! А может, отец помог? Отец вот нашел время, а он — нет. От этого воспоминания Гришке стало до того горько и стыдно, что он чуть не заревел.

В тот же день отвезли на кладбище деда Никифора. Присыпанный снегом, он пролежал там почти месяц, пока не поправилась и не пришла в Валышево его жена Ольга Васильевна.

10. ЛЕТНИЕ ХЛОПОТЫ

Весной, когда наступила распутица, постоянно напомиравший о себе далеким гулом фронт притих, и почти все валышевцы вернулись домой, к своим огородам, к рыхлой, хорошо удобренной и потому щедрой земле на них. Ее и палкой переворошишь, так все вырастет.

Гришка на огороде и копался, когда увидел лошадь. Она шла от шоссе к деревне по минному полю и подходила к двум подорвавшимся зимой танкам. Немцы ставили мины торопливо, не закапывали в землю, а только маскировали снегом. С наступлением тепла мины вытаяли, стали хорошо видны, и люди на них не подрывались. Недавно бабка Мотаиха одну даже домой потащила. Шла с нею довольная, ему протараторила: «Расколупаю — две сковородки выйдет!» — «Расколупаю! Это же мина! Взорвется, так и землянка в небо взлетит». Старушка присела от страха: «О-ой! А что мне теперь с ею делать?» — «Давайте мне». — «А тебе зачем, если она взрывается?» — подозрительно уставилась на него Мотаиха. «Отнесу в воронку, чтобы кто не подорвался». — «Ну тогда бери, — согласилась бабка, — но как я тебе ее отдам, если у меня пальцы свело?»

Настала очередь Гришке не поверить Мотаихе: как это может «свести» пальцы? Однако они у старухи и правда будто приклеились к мине, по одному пришлось отдирать. Еле вызволил мину, отнес на поле и спустил

в глубокую воронку. Хотел побросать в нее камнями, чтобы взорвать, но ума хватило не делать этого — если она танки корежит, так и за воронкой может достать.

Гришка еще раз посмотрел, как безбоязненно шла лошадь по минному полю, схватил попавшийся на глаза кусок немецкого телефонного кабеля и побежал к коню. Метрах в двадцати от него остановился, чтобы не испугать. Конь тоже встал. Ребра выпирали у него из боков, на хребте можно пересчитать все позвонки, грива и хвост спутаны до невозможности. Пошатываясь, еле держась на избитых в кровь ногах, доходяга смотрел на него влажными и покорными глазами.

— Пойдем со мной,— позвал Гришка.

Оставшиеся под истонченной кожей бугорки мышц пришли в слабое движение, конь словно бы хотел откликнуться на призыв, но не решался или не знал, как это сделать. Гришка накинул ему на шею петлю, потянул за собой.

— Ну, иди же! Иди!

В тусклых глазах коня мелькнуло что-то осознанное, он сделал шаг, второй, пошел, а Гришка стал соображать, чья это скотина? Если немцев, то не взгрели бы за ее поимку, а если красноармейцев, то как могла здесь оказаться, где была и чем питалась всю зиму или хотя бы с тех пор, как отступили наши? Ничего не решив, сменил кабель на веревку, привязал найденыша к полусгоревшему столбу в своем огороде, где конь был хорошо виден даже с шоссе: найдется хозяин — пусть забирает, нет — лошадь его будет. С тем и побежал по землянкам поклянчить картофельные очистки и другие отбросы. Принес всего ничего. Кое-кто посмеялся над ним: «Какие очистки? Все сами съедаем, и еще не хватает». Найденыш быстро подобрал с ладоней все добытое и поднял голову — дай еще. Побежал за травой, нарвал полное ведро. Конь съел. Принес воды — отвернул морду, напился, видно, досыта во время бродяжничанья. Пришлось снова идти за травой.

Хозяин не объявился ни на второй день, ни на третий.

— Если он и есть, так не признается. Кому нужен такой одер?— ворчала мать.

Немолодого рыжего меринка Гришка назвал Мальчиком и радовался, когда тот тихонько ржал, откликаясь на это имя. Но как выводить его? Трава едва выглядывала из земли, ни косой, ни серпом ее не срежешь, рвать надо, а у него и так в глазах одна зелень стоит и руки по локоть зеленые. По совету матери стал выводить Мальчика на возвышенные, хорошо обогреваемые места, где трава уже подросла, и тот сам стал добывать себе пищу. Гришка холил Мальчика, будто какого породистого скакуна, без конца мыл его, чистил, расчесывал гриву и хвост. Шерсть на коне выправилась, заблестела, и через месяц он стал вполне справной рабочей лошадью. Тут и мать подобрела, стала лечить ему ноги какими-то снадобьями и уж совсем загордилась конем, а еще больше сыном, когда тот сшил уздечку, раздобыл хомут, дугу, вожжи, починил старый, обгоревший при бомбежке плуг и вспахал огород. После этого Гришку каждый день стали звать на помощь, а за работу платили картошкой, иногда даже зерном, сохраненным в тайных зимних ямах. С появлением Мальчика в дом пришел хоть маленький, но достаток.

И радость! За зиму в деревне ни одной кошки, ни одной собаки не осталось, а тут добрый и послушный конь! Не меньше старшего к нему привязались Настя и Нина. Галя и Люся, глядя на них, стали подходить к Мальчику поближе, осмелев, гладили ему ноги — до головы не доставали, если он сам к ним не тянулся. Улыбаться и даже смеяться начали сестренки. Членом семьи, и, пожалуй, самым любимым, стал Мальчик. Приедет Гришка с работы, распряжет коня, и к нему уже со всех сторон несутся и приласкают, и угостят, и напоят, и почистят, и попасут. Так полюбили сестренки меринка, что Гришка ревновать начал.

Лето наступило. Все начали восстанавливать дома, пока только подвалы, и переселяться в деревню. Гришка тоже из всякого старья слепил нечто вроде баньки-насыпухи. С утра до вечера пилил и тесал, чтобы каждую досщечку к месту подогнать. Разохотившись, удлинил баньку, и в ней как бы комната и кухня получились. С северной стороны еще и сарай для коня пристроил. Доброе жилье из ничего получилось.

А раз так, можно и передых устроить. На утренний клев парнишка ушел до восхода солнца, но сразу после рассвета занялся ветер, вздыбил на Полисти волны, и рыба будто провалилась. Парочку гранат бы кинуть, но об этом нечего и думать — немцы постоянно живут в деревне, приказы о запрещении хранения какого-либо оружия желтеют всюду, хоть спотыкайся о них. Из-за этого он даже с наганом поиграть не решался, даже близко не подходил к тому месту, где его спрятал.

Весной, снег еще кое-где держался, пошел на болото за клюквой-веснянкой, и увязался с ним Гошка Сенькин, девятилетний сын единственного в деревне единоличника и какой-то родственник полица, которого еще прошлым летом окрестили Собачником за то, что рыскал всюду без устали, все про всех вынюхивал и доносил немцам. Из-за Собачника он и не хотел брать с собой мальчишку. Тот в слезы: «Мне для мамки надо, а один боюсь идти. Я мертвых страх как боюсь. Тиф у нашей мамки, Гриша». Разжалобил малец Гришку, тот и взял его с собой.

Осенью было не до клюквы, и почти вся ягода ушла под снег. Быстро наполнили кузовки и отправились домой. Гошка впереди. А Гришка поотстал — все ягоды высматривал. И не напрасно. Справа от тропки целую россыпь приметил. Свернул туда, стал обходить воронку и наткнулся на убитых красноармейцев. Один лежал на спине. Пола шинели откинута, из кармана рукоятка нагана выпирает.

Гошка уже далеко утопал, забоялся, видно, и стал

звать его. «Иду, иду,— отозвался Гришка,— только ягоды соберу». А какие уж тут ягоды? Повременил немного, крикнул, что идет, а сам в лес, где погуще. Там рассмотрел наган. Новенький, пахнет железом и маслом!

Спрятал драгоценную находку под куст вереска, укрыл мхом, а уйти не смог. «Нельзя стрелять! Нельзя! Гошка может услышать!»— убеждал себя, а рука раскидывала мох, тянулась к нагану, обхватила его тяжелую и удобную рукоятку, палец лег на спусковой крючок, глаз выровнял прорезь с мушкой, и грянул выстрел. Ветка, в которую целился, не шелохнулась. Снова прицелился, но второй раз стрелять не решился. Вновь укрыл наган мхом и побежал догонять Гошку. Сказал ему, что ягод попало много, потому и задержался. Гошка вроде бы поверил, однако спросил, кто стрелял? «Да немцы шли по дороге и в меня пальнули».— «Не попали?»— «Они и не целились, попугать хотели. Побежал, так засмеялись. Не слышал разве?»— «Не»,— сказал Гошка, недоверчиво косясь на Гришку.

Вроде бы отбрехался и успокоился, да не совсем. Несколько дней места себе не находил, потом снова строительством занялся, однако, увидев подходившего к их подворью Гошку, так загляделся на него, что стукнул молотком по пальцу. Пока дул на палец, вмиг посилавший, кое-как совладал с собой, во всяком случае спросил почти весело: «Что, Гошка, снова хочешь за веснянкой сходить?» — «Не, я по делу пришел,— серьезно ответил мальчишка.— Мамка просила тебе спасибо передать. Она морс все время пьет, пьет, и ей стало лучше».— «Вот и хорошо. Пусть поправляется».— «Ну, я пошел».— «Иди».

О выстреле Гошка не заговорил, и он не стал о нем поминать. На другой день сбегал в лес, почистил наган, завернул в тряпку, сверху обрывком клеенки прикрыл, чтобы вода на него не просочилась, и молчок — зубы на крючок. Все это пришлось вспомнить при возвращении с

рыбалки. Вещи почему-то были выброшены из их жилища, сестренки ревели в голос, мать стояла темнее тучи. Руки уперты в бока, в глазах нетерпение.

— Где шатался?— спросила не предвещавшим ничего хорошего голосом.

— Не видишь разве?— заслонился он на всякий случай удочкой.

Мать вырвала ее и ею же стала хлестать по рукам.

— Рыбачил? Один раз порыбачил, так мало тебе? Мало, да?

— Что случилось-то, говори толком!— закричал и он, увертываясь от ударов.

— Поздно явился. Постоял бы под пулеметом — по-другому заговорил. Вот тут нас поставили, а здесь пулемет!— тыкала мать пальцем совсем рядом.

— Я-то в чем виноват?

— О господи! Он еще спрашивает! Пистолет твой искали. Где он у тебя? Где?

От этих слов у Гришки сразу сперло дыхание — ляпнул все-таки Гошка!

— Не расстреляли ведь,— понуро сказал матери.

— Не расстреляли, но сказали, что приедут завтра и, если не отдашь пистолет, всех поубивают. Собачник так сказал.

— Отдай, Гриша,— затеребила за рукав старшая сестра Настя.— Знаешь, как страшно, когда на тебя пулемет наводят. Я чуть не умерла, мамка вся белая стала.

И другие протягивали к нему руки, просили о том же. Даже маленькая Люся.

Придется отдавать — немцы не отступятся. Сказать, что нашел, один раз выстрелил и бросил? Как докажут, что не так было дело? А они и доказывать не будут. Нашел — должен сдать, не сдал — становись к стенке. Эх, Гошка, Гошка! Не выдал — иначе немцы сразу бы прискакали, а то вон когда хватились,— но сбрыхнул что-то. И его черт дернул тогда выстрелить!

— Ну? — наступала мать.

— Отдам. Сейчас принесу.

По привычке сначала побежал, но скоро стал замедлять бег, перешел на шаг, остановился.

Этим летом он подружился с колхозным бригадиром Матвеем Ивановичем Ивановым, человеком спокойным, молчаливым, все понимающим, и стал бригадир его первым советчиком, каким раньше был дед Никифор. Сблизило их дело. Зимой под деревней гибли не только красноармейцы, но и гитлеровцы. Своих немцы подобрали, а наших не разрешали хоронить. Весной пригнали пленных, приказали стащить мертвых в кучи и засыпать известью. Кучи большими получились, и тешила фашистский глаз такая картина, не хотели они с нею расставаться, но, когда наступило тепло, разрешили предать убитых земле. Гришка закапывал мертвых и раньше, тех, что лежали поближе к деревне. Бригадир предложил захоронить всех. Он согласился, однако в первый день едва не сбежал — когда начинаешь растаскивать кучу полуистлевших трупов, дышать становится нечем не только на поле, вблизи кучи, но и в деревне. Матвей Иванович пристыдил его, и он остался, а потом притерпелся. Всех зарыли в воронки и траншеи. Закапывали глубоко, как в настоящих могилах, чтобы после освобождения, когда придут на поле трактора, не выдирали плуги погребенных, как случилось у Гришки на огороде Кровушкиных, где его стародревний плужок выворотил из земли полтрупа гитлеровского вояки с железным крестом на истлевшем мундире.

«Знаешь, сколько похоронили? — спросил бригадир к концу последнего дня работы. — Четыреста двадцать пять человек! Вот сколько людей погибло за нашу деревню! Да нет, гребена ниченка, больше. Не всех же здесь оставили, первое время подбирали, сколько еще в госпиталях умерли? Целую тысячу в уме держать

надо», — удивился бригадир своим собственным рассуждениям, сорвал с головы кепку и долго стоял у только что засыпанной последней воронки, как стоят на кладбищах. Гришка встал рядом, и у обоих дрожали руки.

Деревня следила за их работой и знала, что она закончена. Все женщины оказались на улице, каждая говорила что-то хорошее, Мотаиха даже в пояс поклонилась: «Спасибо тебе, Матвей Иванович! И тебе, Гришенька!» Отобедать чем бог послал приглашали. Они отказывались, но, когда предложили смочить горло самогонкой — она всю заразу уничтожит, — бригадир не устоял, а Гришка поспешил домой отмыться, одежонку простигнуть и выветрить, да и смущен был непривычным вниманием и такими почестями.

Время шло, мать уж, наверно, заждалась его, а он все стоял на опушке, пока не стукнуло: дяде Матвею надо все рассказать, вдруг что придумает.

Огородами, чтобы не увидела мать, стал пробираться в деревню.

Бригадир жил в полуподвале — четыре венца над землей — на месте сгоревшего дома. На постое у него были немцы.

— Дядя Матвей, мне оселок надо, косу поправить, — нашел подходящий предлог парнишка, чтобы вызвать бригадира на улицу.

Матвей Иванович подыграл:

— А умеешь ли ты править? Пойдем покажу, как это делается.

Он прихватил оселок, и они вышли.

— Ты что нос повесил? Случилось что?

— Случилось, — вздохнул парнишка и рассказал, в какое положение он попал из-за своей неразумности.

— У, гребена ниченка, серьезное дело. Не пойму, однако, что ты нашел, наган или пистолет?

— Да наган! Но я его не буду отдавать! Ни за что! Я его в лесу спрятал.

— Так убьют же тебя, Гриша.

— Я знаю... Может, в лес уйти партизан поискать?

— Тогда твоих расстреляют

— И я всех немцев перестреляю! Собачника в первую очередь. Приведу партизан, и мы тут такое устроим...

— Пустое, надо о деле думать,— прервал бригадир.— Вы когда за клюквой ходили?

— Да я и не помню. В конце марта или в начале апреля.

— Гм, три месяца назад ты нашел этот наган, а с тебя спрашивают сейчас! Значит, отдавать придется, не отвяжутся!

— Нет! Нет! Мой он!!

Гришка в отчаянии схватился за голову, и слезы брызнули из глаз.

— Да погоди убиваться! Ты вот что, ты пистолет им отдашь!

Гришка ошалело уставился на бригадира:

— А где я его возьму?

— Ну-ну, еще скажешь, что ты на Алешкином гумне ни разу не бывал, сгоревших пистолетов и другого оружия там не видел? Выбери пару получше и приходи в овраг, а я туда керосинчик принесу. Почистим, смажем и.

Ну и Матвей Иванович! Ну и... Дослушивать бригадира Гришка не стал, мигом слетал в гумно, прихватил там три пистолета и быстренько назад. Из них кое-как собрали один, очистили от ржавчины и окалины, керосином протерли, попробовали, как работает, и приуныли — перекалившаяся пружина еле возвращала затвор на место. Другие были не лучше. Из такого пистолета не выстрелишь, а Гошка слышал выстрел.

Сильные, жилистые руки бригадира с треском ломали подвернувшуюся на глаза палку. Капельки пота стека-

ли по носу и падали на землю. Молчал он долго, потом изрезанное резкими морщинами длинное лицо Матвея Ивановича разгладилось, будто кто провел по нему утюгом:

— Давай так сделаем. просуши пистолет на солнышке, чтобы керосином не пах, отдай «моим» немцам — они здесь недавно и не знают, что у нас такого добра навалом, — а у них попроси бумажку, пусть напишут, что ты сдал пистолет. Завтра ее Собачнику и сунешь.

Бригадир ушел, а Гришка совсем пал духом: «квартиранты» дяди Матвея могут не дать нужной бумажки, тогда Собачника и его немцев придется вести к ним, и все раскроется. Дострелялся! Еще раз протер насухо пистолет, поелозил его о траву, чтобы лесным духом пропитался, и поплелся в полуземлянку Матвея Ивановича, как и договаривались, дома не было Гришка к немцам:

— Вот пистоль нашел! Лес, лес нашел, — заговорил, коверкая русские слова на немецкий лад и протягивая на вытянутых руках свою «находку».

Один поднялся, прихватил патрон и пошел на улицу Гришка за ним, с надеждой на несбыточное — вдруг пружина зацепится за что-нибудь, потом сорвется, и пистолет выстрелит. Чуда не случилось. Солдат вернулся обратно, швырнул пистолет в угол и повернулся к нему — чего тебе?

— Мне папир, папир надо, что сдал пистоль. Иванов моя фамилия. Ива-нов, — выговорил по слогам и показал на ладошке, что написать надо.

Немец озадаченно поморгал и расхохотался:

— О, какой хитрый кнабе! О-о-о! Малшик Иван хочет иметь документ?

— Да, да, — закивал головой парнишка, радуясь, что его поняли.

Немец хмыкнул, однако подошел к столу, нацарапал там что-то и протянул маленький листик Гришке. Он схватил бумажку, сказал спасибо и показал солдатам спину

— Штейн! Хенде хох!— остановил его грозный окрик.

Парнишка оглянулся и не узнал своего спасителя, а тот рычал еще свирепее:

— Ко мне, Иван. Шнель!

Гришка подошел к столу, а немец, тараща злые глаза, запустил руку в железную банку, пошелестел там чем-то и жестом фокусника вытащил конфету в красивой золотой обертке!

Парнишка невольно отступил на шаг, вид у него был такой, что солдаты схватились за животы, показывая пальцами то на него, то на «фокусника».

— Презент!— сказал немец, вкладывая конфету в негнущуюся руку Гришки.— Я шутиль — надо смешить друзья. Ком.

Гришка выскочил на улицу. Вслед ему раздались новые взрывы хохота. А его радость, вспыхнувшая было при одном виде полученной бумажки, померкла,— может, показавшийся ему таким добрым немец и с ней какой-нибудь трюк устроил? Домой вернулся смущенным и растерянным. Мать ждала на улице:

— Принес?

— Да.

— Давай сюда!

— Я его немцам отдал!

— Что брешешь, окаянный? Они завтра хотели приехать.

— Я тем, что у дяди Матвея живут, отдал.

— О господи! И в кого ты такой бестолковый уродился? За пистолетом какие немцы приезжали? Ивановские. Им надо отдавать, им, а не нашим. Беги и попроси пистолет обратно.

— Да не кричи ты, мама. Не надо мне никуда бегать. Они бумажку дали.

Мать рассердилась еще больше:

— С нас пистолет требуют, а не бумажку. Где она?

Он подал расписку. Мать взгляделась в нее и заголосила:

— Ну, дурак! Ну, дурак! Ты хоть знаешь, что тут написано?

— Откуда?

— Поди, написали, что тебя нужно вздернуть на первой лесине, а ты уши развесил.

Что тут возразить? Мог и так написать немец, мог и хуже. И спасет ли его самая хорошая бумажка, если он хранил оружие столько времени? Но семью-то может она спасти.

— Расстреляют, так меня...

— Утешил. И на том спасибо!

— Они мне конфетку дали. Вот! — разжал вспотевший кулак. — Похвалили меня!

Столь неожиданный подарок озадачил мать. Повертела она конфетку и сплюнула в сердцах:

— А черт поймет этих немцев, прости меня, господи! Смотри у меня! Если обманываешь, не знаю, что с тобой сделаю!

Много ночей в ожидании неминуемой смерти провела семья после прихода немцев. Эта, летняя и короткая, показалась самой длинной и безнадежной. Сестренки, намазавшись за день, как-то уснули, а они с матерью даже не ложились.

Мать молчала. Заговорила только под утро, и так, как говорят перед длительной разлукой или прощаясь навсегда:

— Никакого горя я с тобой не знала. В школу уезжал, так боялась, чтоб не избаловался там без семьи. Устоял. И учился хорошо, и за поведение твое краснеть не пришлось. Сейчас-то почему все не то делаешь? На что тебе этот чертов пистолет сдался? На что-о? Как мне перед отцом за тебя отчитываться? Ой, да ладно, не о том хотела сказать, совсем не о том, а вот слов нужных не найду, — замолчала, поправила на голове сбившийся платок, подошла к окошку. — Солнце уже высоко поднялось. Скоро приедут. Посидим еще немного и на улицу выйдем.

Мать думала согласно с ним: семью могут и не тронуть, а его расстреляют.

— Мама, разбуди девчонок, пусть уйдут, чтобы не видеть...

— Нет, Гриша, беду надо вместе встречать, а там уж как бог рассудит.

Они приехали. Немецкий офицер и Собачник направились к ним. Сжимая в руке бумажку, мать побежала навстречу, стала объяснять, что сын сдал пистолет, вот документ об этом. Офицер прочитал бумажку, передернул плечами. Истолковав этот жест по-своему, Собачник с готовностью снял винтовку, скомандовал матери:

— Отойди, не заслоняй свое большевистское отродье.

Скомандовал так непривычно тихо, что Гришка не поверил своим ушам. Обычно этот маленький, вертлявый человек говорил возбужденно, а когда кричал, то переходил на визг. Пока догадался, что Собачник сдерживает себя в присутствии офицера, мать выхватила из кармана конфету:

— Вот же, вот,— протянула ее офицеру,— мальчику,— Гришка не помнил, чтобы она когда-нибудь называла его так,— дали за то, что сдал пистолет. Вот!— выдохнула еще раз, не зная, что говорить дальше.

— Мальчику!— чуть не подпрыгнул Собачник.— Я ему сейчас еще одну «конфетку» подарю!— Он передернул затвор и стал поднимать винтовку.

«Вот и все!»— ухнуло в груди Гришки, но офицер остановил Собачника жестом руки, взглянул на девчонок, долго-долго, как показалось Гришке, разглядывал его и поманил к себе.

Обостренным опасностью женским чутьем мать уловила происшедшую перемену и подтолкнула сына:

— Иди, Гриша, иди. Не бойся.

Сама встала так, чтобы загородить его от полиции. А Гриша шел, ничего не видя перед собой, и едва не

ткнулся в живот офицера. Тот отступил на шаг и, размеренно выговаривая что-то, хлестнул его плетью раз, другой, третий, еще что-то сказал и пошел к машине. Собачник покрутил головой и последовал за ним. Не едущая к Матвею Ивановичу, машина покатила в Ивановское.

Гришка перевел дух и поднял глаза на мать. Она с прижатыми к груди руками беззвучно опускалась на землю. Он подхватил ее, удержал на ногах и крикнул Насте, чтобы тащила воды.

Мать отпила глоток и сразу обрела силы. Протянула конфету старшей:

— Подели «подарочек» от братца,— повернулась к сыну:— Что ты со мной делаешь, негодник? Не знаю, как и до утра дотянула. Да лучше бы умереть, чем жить в таком страхе. Что бы мы делали, если тебя, стервеца, расстреляли? Вернется отец, все, все расскажу, пусть он с тебя хоть три шкуры спустит. Улыбаешься? Я тебе поулыбаюсь, я тебе!— Потрогала вспухающий рубец на лице сына, приказала:— Настя, смочи водой тряпку и приложи, а то долго болеть будет. А Собачнику я этого не прощу! Вернутся наши, я ему все волосы выдергаю, зенки его проклятые выцарапаю. Я его... А наши что сиднем сидят? Лето уже проходит, а они все телятся. Пора уже по-настоящему освобождать, пока нас всех не перевели.— Повернулась к Гришке:— Ты у меня чтоб больше из дома ни шагу! Арестовываю тебя! Понятно?

Гришка улыбался — такая вот у него мать, все в кучу собрала, всем досталось, и ничего с ней не поделаешь.

11. В ЛАГЕРЕ

Минули лето и осень, ко второй своей половине подбиралась зима, в этом году мягкая, с затяжными оттепелями, а фронт словно вымер. Как встал весной прошлого года, так и стоял, иногда его не было слышно

неделями. Немцы болтали, что взяли Сталинград, Ростов-на-Дону, чуть ли не весь Кавказ, но в это мало кто верил — в прошлом году тоже много чего брали, да только на словах, и не может быть, чтобы их так далеко пустили. Верили в другое: Красная Армия освободит и Валышево, и Старую Руссу, все, что успели захватить фашисты,— не может быть, чтобы война длилась бесконечно.

Не может! Не должно!

В деревню Сусолово Гришка пришел под вечер — мать долго собирала и сам не очень торопился, рассудив, что от фашистов не убудет, если он явится в лагерь не утром.

Направил его сюда староста Николай Кокорин. Все, кто мог, в лагере уже отработали, и потому такой приказ не был неожиданным. Насторожило, что смены не будет «Как это? До весны, что ли, я там трубить должен?» — «Зачем до весны? Срок отбудешь и сбегай. Некого мне больше посылать, вот какая история», — ответил на этот вопрос староста. Гришка взглянул на него — не шутит ли? Но лицо Кокорина было серьезным, фигура совсем не начальственной: голенища старых валенок широки для тощих ног, лицо синюшного цвета, все в ранних морщинках, и прятал его староста от ветра в воротнике драного кожушка, который свисал с его узких плеч. «Как я сбегу, если аусвайс в лагере отбирают?» — задал Гришка новый вопрос Кокорину. — «Я тебе новый выдам. И не бойся — не обману». — «Ну, коли так... Когда уходить?» — «Завтра. А о нашем уговоре молчок! Понял?» — «Угу», — мотнул головой Гришка.

Летом немцы тянули узкоколейную железную дорогу на Белебелку. Проходила она через Валышево, и на ее окраине, перед спуском к реке, построили из фанеры круглые, похожие на юрты, временные домики. В них жили согнанные со всей округи девчата и молодые бабы. Этот лагерь даже забором огорожен не был, сторожили его

два жандарма, и те больше сидели в тени или, наоборот, грелись на солнышке, если было прохладно. Местным жителям появляться в лагере запрещалось, рабочие тоже не имели права расхаживать по деревне, но эти ограничения не особенно выполнялись. К ним как-то зашла девчонка, которой надо было уйти домой. Замуж, что ли, она собиралась. Мать дала ей черный платок, на себя накинула такой же, взяла икону, и пошли они якобы на кладбище в Ивановское. Дальше девчонка одна побежала, и никто ее не хватился. Может, и хватились, но шума не поднимали.

Все это Гришке вспомнилось, пока разглядывал ряды колючей проволоки, окружающей лагерь в деревне Су-солово, две сторожевые вышки и караульное помещение, из окна которого пробивался неяркий огонек. Парнишка и еще бы постоял на воле, но дверь караульного помещения распахнулась, в ее проеме возник охранник, и пришлось идти. Новенького ругнули за то, что поздно пришел, приказали сдать личные вещи кладовщику и вытолкнули из караулки.

Кладовщик, рослый мужик с хитроватым прищуром светлых глаз, цепкими пальцами ощупал мешок:

— Что в нем?

— Штанишки запасные, немного картошки и хлеба,— сдержанно ответил Гришка.

— Для чего штанишки-то? Желудком слаб, что ли?

— Для тепла,— пояснил Гришка, косясь на поросшие рыжими волосами пальцы кладовщика, ловко развязывающие мешок.

— Счас проверим. Может, вместо картошки гранаты у тебя, может, ты иностранный шпиён и лагерь подорвать хочешь?— ерничал кладовщик, вытаскивая каравай хлеба.— Ого! Хорош хлебец и пахнет, аж слюну вышибает,— продолжал он, отхватывая ножом большой кус и небрежно бросая в ящик стола.— Хорошо живешь, парень, а мои ребята голодными сидят. Пусть тоже

хлебца попробуют. И не хмурься — не ограбил. Должон я что-то иметь за сохранность твоего имущества? Вот то-то. А в знак благодарности я тебе распрекрасное местечко для спанья устрою. На самой верхотуре, где тепло, как на печке. Что тебе на курорте жить будешь, смотри только бока не пролежи, но тут есть кому о тебе позаботиться.

Под жилье рабочим лагеря немцы отвели гумно с пристроенной к нему ригой. Стены ее срублены из бревен, гумно тоже крепкое. Нары в четыре яруса. Кладовщик провел Гришку в ригу, ткнул пальцем вверх:

— Во-он твоё место, поближе к солнцу. Обед тебе сегодня не полагается, а завтра будешь состоять на немецком довольствии, — показал крепкие зубы и ушел.

Станный он был мужик: над собой, над Гришкой посмеивался и над немцами тоже, но в меру, осторожненько.

Невеселые размышления новосела о лагерной жизни были прерваны окриками караульных, топотом ног, многоголосым говором, а через минуту показалось, что в гумно загнали табун лошадей и забили они, зацокали копытами по деревянному настилу — на многих лагерниках были деревянные колодки. Ими и отбивали дробь, согревая окоченевшие ноги. Чтобы не мешать прибывшим, Гришка забрался на своё место, ощупал деревянное ложе из неошкуранных сосновых подростков, спросил соседа:

— Кто это ползает тут?

— Вши, — равнодушно ответил парень, — не тараканы же.

Вши появились в деревне, как только кончились последние остатки мыла и все исхудали до прозрачности. «На чистом и сытом теле им делать нечего, — объяснила мать. — Они голодных любят, а на тех, кому в могилу скоро, сотнями лезут, и ничем их не выведешь. Как и узнают, ума не приложу». Вши в семье водились, но дома

одежду прожаривали над костром или плитой, головы мыли щелоком, в нем же кипятили белье, а здесь? Если они по нарам ползают, то обирать их бесполезно, подумал Гришка. И другое тут же пришло в голову: хорошо бы его укусила тифозная, он заболел и его бы отпустили домой.

Утром его разбудил голос охранника:

— Шнель! Шнель! — не очень утруждая горло, кричал он.

Гришка еще потягивался, а те, кто спал на нижних нарах, уже неслись к выходу. С верхних спрыгивали друг на друга, ругались и тоже бежали к дверям. Он задержался, и охранник огрел его палкой.

После построения и поверки завтракали. Кружка кипятка не обжигала губы. Кусочек хлеба-эрзаца сглатывали на ходу. Сбор на работу тоже не затянулся, и черная, разномастно одетая колонна, миновав лагерные ворота, потащилась на дорогу, по которой вывозили раненых и шло снабжение фронта.

В первую зиму на чистку дорог гитлеровцы выгоняли население ближайших деревень, но... пока соберешь этих неповоротливых русских, пока пригонишь, куда надо, часы уходят. Укутанные в платки и шали, в одинаковых телогрейках и шубейках, все они на одно лицо, и не поймешь, кто старается, а кто сам бездельничает и других на то же сбивает.

Создали лагеря, и воцарился порядок. Разыскивать и собирать рабочих не надо, никто не опоздает и раньше времени не убежит. Будет нужно — лагерь можно и ночью поднять. Конвоиры всех «своих» знают в лицо, кого надо, подгонят окриком или прикладом.

Прошедший накануне снег завалил дорогу, во многих местах образовались заносы, и конвоиры торопились. Быстро разбили лагерников на партии, развели по местам, и началось мучение. Много ли снега ухватишь железной лопатой? Горстку. Выстроились во всю ширину до-

роги. Средние отгребали снег на стороны, крайние выбрасывали за обочину, сталкивали заранее припасенными досками.

Когда хорошо рассвело, раздался выстрел. Следом за ним — другой. Все встрепенулись, но, увидев, что стреляет старый, с черной повязкой на левом глазу конвойный, вновь принялись за работу. Один Гришка остался стоять с приставленной к ноге лопатой — не мог разглядеть, в кого палит немец. Никто не убегал, винтовка была направлена куда-то вниз. Все оказалось очень просто. Гришка и раньше заметил за обочинами трупы красноармейцев, наверное, пленных, которых пристреливали по дороге. Рука одного была задрана вверх. По ней и стрелял Одноглазый, пока кисть со скрюченными пальцами не отлетела прочь.

— Чего рот разинул? — подогнал сосед. — Паши давай. Этот весь день «тренируется» — не насмотришься.

Гришка взялся за лопатку, но она то на соседскую натыкалась, то по чистому месту скребла. Он привык к уважительному отношению к мертвым, знал, что их нужно обмыть, обрядить во все лучшее и лишь после этого предать земле. Стрелять по трупам, калечить убитых казалось ему подлее подлого.

Пленных мимо Валышево в прошлом году и нынче прогоняли часто, и каждый раз мать бежала на дорогу — вдруг отец среди них окажется, вдруг отпустят его, старого, домой? Он помнил, как позорно сдались двое бойцов в день бомбежки, и внушал матери, что отец не предатель и не может оказаться в плену. «Знаю, что не предатель, — отвечала на это мать, — но всякое может случиться. Ранят в ноги, так не убежишь». — «Да он подорвет себя вместе с фашистами гранатой, его не возьмут живым!» У матери находился ответ и на такой довод: «А если ранят в руки, если без сознания будет? Ты сколько пластом пролежал, когда тебя Рыжий избил?» На это у него не находилось возражений ни раньше, ни сейчас.

Вполне могло оказаться, что его отец лежал близ дороги, по нему, давно убитому, стрелял Одноглазый.

Жестокость Одноглазого поразила не только Гришку. Начались разговоры, перешептывания, и мальчишка узнал, что в январе сорок второго года в том самом месте, где они чистили дорогу, фашисты расстреляли колонну пленных, в которой шло около двух тысяч человек. Мог здесь погибнуть и его отец. Вполне мог.

Работу закончили в сумерки. В лагере получили по черпаку неизвестно чем заправленной бурды, по кусочку пайки. И началось: подъем, дорога, короткий сон и снова работа на пустой желудок, который каждую минуту напоминал о себе то дремлющей болью, то сердитым урчанием, то сковывающей все тело резью.

До конца срока оставались считанные дни, и в один из них Одноглазый застрелил расторопного белобрысого паренька, сына учителя из какой-то псковской деревни. Гришка заметил его в первый день пребывания в лагере и все удивлялся его длинным и пушистым, совсем девчачьим, ресницам, ровным и белым зубам и еще больше нелагерному румянцу на щеках, будто он каждый день пил парное молоко. Рубил паренек колья для щитов, за ними отошел от дороги. Далеконько так отошел. Одноглазый следил за ним, но не останавливал. Потом крикнул, чтобы шел назад, а парень топор в снег и деру. Одноглазый подбил его со второго выстрела, для верности выстрелил в распростертое на снегу тело еще раз, уже в упор, отыскал топор и пообещал:

— Так будет всем, у кого ноги длинный!

Ночью Гришка не спал. Дома побег из лагеря казался ему делом простым, что будет дальше, не задумывался. После такого наглядного урока все переменялось. Пока он в лагере, немцы могли сменить старосту. Как тогда появляться в деревне и добывать паспорт? Да и Кокорину, наверно, не так просто достать новый аусвайс. Вспоминал последний разговор со старостой, по-новому оце-

нивал каждое сказанное им слово, с какой интонацией оно было произнесено, и — опять двадцать пять — все выглядело совсем в ином свете, чем раньше. Вроде бы сочувствовал ему Кокорин, но попробуй угадай, что у него на уме? Молодой, но в армию его почему-то не взяли, и в партизаны не подался. Работал секретарем сельсовета — и стал старостой?! В других деревнях на эту должность назначили людей уже пожилых, чем-то обиженных на Советскую власть, и они лютуют, издеваются над народом не хуже Собачника. Про Кокорина этого не скажешь. Он заставляет делать то, что нельзя не делать. При немцах накричит и пригрозит, без них вроде бы снова секретарем сельсовета становится. И получается, что люди на него не обижаются, и немцы доверяют. На немцев наплевать, пусть себе доверяют, а может ли он, Гришка, на Кокорина положиться?

И другое не радовало: после неудачного побега конвойные наверняка введут новые строгости, во всяком случае, глазеть лучше станут. Большим остолопом надо быть, чтобы бежать в такое время, а кончится срок, не придет смена, его и совсем на особую заметочку возьмут, чего доброго, мишень на спину заставят пришить, и тогда до весны придется погибаться в этом чертовом лагере.

Эти опасения подтвердились: на утреннем построении старший немец пригрозил, что конвоиры будут без предупреждения стрелять в тех, кто «любить бегаль» и «плохо работать», Одноглазому объявил благодарность и вручил какой-то подарок.

Завтрак был коротким. Глотнули теплого, отдающего ржавчиной кипятку, получили пайки и пошли на дорогу. Работали вяло. Охранники зверели на глазах, то и дело пускали в ход палки и приклады. Взаимная ненависть держалась весь день. Перед концом работы конвойные то ли устали от чрезмерного усердия, то ли поняли, что русских сегодня не перебороть, и разрешили развести костер. Все сгрудились около него, стараясь занять место

поближе к огоньку. Образовался круг. Охранники оказались в центре. Гришка опоздал занять «тепленькое местечко», покрутился вокруг да около, и его будто кто в бок толкнул — твоя минута, не упusti!

Забухало в груди сердце, перехватило дыхание. Делая вид, что расстегивает ремень и отходит по нужде, пошел от костра. Присел в кустиках, убедился, что все спокойно, и, сдерживая ноги, пошел дальше. Надеялся, что у костра просидят долго, но там что-то случилось, стали расходиться по местам.

Напарник стоял с двуручной пилой и крутил шей. К нему подбежал Одноглазый, стал что-то спрашивать. Парень развел руками. Немец ударил его прикладом, выстрелил вверх. Пока не поздно, надо было возвращаться, но он ушел далеко, Одноглазый догадается зачем, и если не пристрелит, то забьет насмерть. Ну уж — нет! Что-то взорвалось в парне, наполнило тело силой, и он, не чувствуя под собой ног, понесся от Одноглазого и от его винтовки.

Беглеца увидели. Закричали. Почти одновременно раздалось несколько выстрелов.

Одноглазый гнался первым, но он останавливался, чтобы вернее прицелиться, — Гришка за это время отрывался от него. Он был легче немца, меньше проваливался в снег. И бежал быстрее. Он спасал свою жизнь. Одноглазый всего-навсего нес службу.

Выстрелы стали раздаваться все реже и наконец смолкли. Он не остановился, перед деревней Ночково свернул к Холынье, рекой двинулся к Полисти, удивляясь, что без передышки пробежал столько, ни разу у него не сбилось дыхание и что не подстрелил его Одноглазый. Но это, поди, потому, что бежал не прямо, как псковский парень, а петляя, бросаясь из стороны в сторону.

Домой сразу идти не решился. В стоге сена дождался темноты и, крадучись, стараясь, чтоб не скрипнул под

ногами снег, пошел к себе. Радостно заржал Мальчик. Узнал! Это было до того неожиданно, что свернул к коню. В распахнутую дверь высунулась голова Мальчика, и Гришке показалось, что конь улыбается, обнажив длинные верхние зубы.

К своим зашел с ощущением сознания своей живучести и необыкновенного везения:

— Здравствуйте, вот и я!

Все ахнули, заулыбались.

— Глиша плишел! Глиша!— закричала Люся и бросилась на руки.

Он подхватил ее, закружил и сразу забыл о всех своих невзгодах, но мать — умеют же взрослые портить настроение в самую неподходящую минуту,— разглядев грязную, по пояс в сосульках одежду сына, ахнула:

— Неужто сбежал? Сбежал, паршивец! А о том не подумал, что тебя завтра же и отыщут? Ох, горе ты мое луковое, что наделал-то опять?

От этого ушата холодной воды Гришка съежился и растерянно пробормотал:

— Не бойся, мама, я у вас жить не стану.

Мать посмотрела на него, как на маленького и неразумного:

— Вот тебе и на! А где же? Не лето на дворе, в лесу не спрячешься.

— Землянок пустых много, в какой-нибудь схоронюсь.

— Смотри, как бы тебя немцы не схоронили.

Мать кричала, ругалась, но радости скрыть не могла. Бранясь, успела обдумать, что делать и как спасти непутевого сына от новой беды: девчонок предупредила, чтоб о появлении Гришки рта не раскрывали, ему приказала носа за дверь не высовывать, задула горевшую лучинку и ушла.

Вернулась скоро, собрала чистое белье, вытолкнула сына на улицу, там рассказала, что делать дальше.

— Нашла тебе баньку с горячей водой. Вымоешься и пойдешь к Варуше и Тимофею. Прискачут за тобой, так пошлю Настю предупредить. Убежишь в лес.

На другой день охранники в деревне не появились. На следующий — тоже. Гришка выждал еще день, а вечером, притаившись в огороде — староста жил недалеко от дяди Тимофея и его жены Варуши, — выждал, когда Кокорин возвращался домой, и шагнул навстречу.

— Вернулся? — удивился тот.

— Сбежал, как приказывали, — напомнил Гришка Кокорину о последнем разговоре и рассказал, как все ловко у него получилось.

— Три дня, значит, прошло? А меня о тебе не спрашивали, — староста помолчал, что-то обдумывая, и заговорил веселее: — Знаешь почему? Не ищут! Им выгоднее объявить, что ты убит при попытке к бегству. Никаких хлопот, вместо нагоняя — благодарность, лагерникам — наука. Поскрывайся пару дней и объявляйся.

— А паспорт? — напряженно спросил беглец.

— Будет. Матери о нашем уговоре ничего не говорил?

— Не маленький — соображаю.

— Угу, почти подпольщик, — усмехнулся Кокорин и предупредил: — Идет кто-то — сгинь.

Гришка просидел в «подполье» до конца срока работ в лагере и вернулся домой. Это никого не удивило — в деревне привыкли, что люди уходили на работы и возвращались. Вот и он появился. Что тут особенного? Это бы и хорошо, а вот рассказать о том, как он убегал от немцев, как они стреляли по нему и не попали, никому не пришлось. На языке не раз вертелось, однако устоял.

12. НОВОЕ ИЗГНАНИЕ

Длинный день начала июня только заявлял о себе чуть поднявшимся над землей солнцем, как мать ухвати-

ла Гришку за плечи и стянула с нар. Вырванный из беспробудного сна, еще не расставшись с ним, он едва различал ее заполошный крик, но слова «облава», «немцы» дошли до сознания и заставили вскочить на ноги. Выбежал во двор в исподнем, увидел охватывающую деревню широким полукругом цепь солдат и, пригибаясь, съеживаясь, точно под пулями, побежал в овраг, соображая, куда лучше спрятаться, заметили фрицы его бегство или нет? В брошенную землянку? Ага, заберись туда, а они прочешут ее из автомата или гранату швырнут, как зимой, когда Матвея Ивановича в руку ранили. Лучше на черемуху залезть — с нее все видно будет. Пойдут в овраг — можно и убежать. Высоко не стал забираться, устроился в непроглядной листве.

Немцы сгоняли в кучу и старых и малых, но выбирали из нее молодых, здоровых и заталкивали в машину. Плачущих матерей отгоняли короткими очередями поверх голов и прикладами. Побегали по огородам, еще кого-то привели. Прошли по подвалам и землянкам еще раз, только после этого сняли цепочку, разобрались по машинам и уехали.

Выбираться из своего убежища парнишка, однако, не спешил — знал, что фашисты оставляют кого-нибудь из полицаев для поимки сбежавших от облавы. Минует опасность, мать даст знать, а пока лучше подождать. Так и получилось. Прибежала Настя:

— Слезай — мы с Нинкой все обежали. Никого не осталось.

— Ладно, иди, а я погожу.

Не хотелось возвращаться в деревню, где еще не просохли слезы и где можно нарваться на укоризненные взгляды — наших угнали, а ты вот как-то остался. И успокоиться надо было.

Фашисты устраивали облавы и отправляли молодежь в Германию и раньше, но прошлым летом невысокий

Гришка казался совсем мальчишкой, и его не трсгали, а за зиму вытянулся, стал походить на парня, и его вряд ли бы оставили дома, не проснись мать раньше других. И до чего же хитры эти фашисты! Два дня назад навывались небольшой группой, уговаривали ехать в Германию: у нас вы станете квалифицированными рабочими, у нас есть электричество, газ, телефоны! Мы культурная нация, и вы станете такими. Каких только благ не наобещали. Жди от них телефонов! Загонят в бараки за колючую проволоку. На черта они сдались! Охотников ехать добровольно не нашлось. Немцы и не рассчитывали на это. Им надо было высмотреть, кто еще остался из молодых и кого можно забрать. Вот и взяли.

Мать огорошила новым известием: послезавтра всех повезут на станцию Тулебля, а потом еще куда-то. Гришка взорвался, прокричал неизвестно кому и зачем все, что наболело на душе, и умолк, наткнувшись взглядом на неоконченный, сверкающий на солнце золотом, остро пахнувший ошкуренными бревнами сруб. Он начал строить дом на прежнем месте, едва растаял снег. С нижним венцом управился один, потом очередное бревно закатывал с матерью и старшими сестрами, рубил в чашку, как настоящий плотник. С утра до вечера махал топором, подгоняя одно бревно к другому. Мать не могла нарадоваться такому усердию и, если заводила разговор о сыне при посторонних, называла его Григорием «Мой-то Григорий на все руки мастер! Все у него ладится. Не знаю, в кого такой уродился».

Последнее бревно в шестой венец вчера укладывали. Кривое попало. Весь день с ним провозился. Мать подошла к срубам в потемках, примерила под свою голову — еще наращивать надо. Попросила: «Кончал бы, Гриша. Завтра доделаешь».

Уже не доделать. Снова все закипело в парне, побелевшими глазами смотрел на сруб и не мог различить бревен — слились в сплошное желтое пятно.

— Ты на станцию завтра поедешь,— продолжала мать.

Вздернул голову:

— Это еще почему?

— Увидят тебя, когда выселять начнут, догадаются, что скрылся, и отправят вместо Тулебли в Германию, ни дна бы ей ни крыши, прости меня, господи.

— Никуда я один не поеду!

— Поедешь, Гриша. Так надо,— спокойно, как о бесповоротном решенном, сказала мать.

— А вы пешком?

— Сказали, по узкоколейке повезут...

— Подожди, мама! Если угоняют, то опять наступления ждут. Давай лучше в лес уедем и там дождемся своих.

— Всю округу выселять будут, Гриша, а кого поймают, сразу расстрел.

Представить себе, чтобы выселили всех до одного, было трудно, и сразу же нашлось возражение:

— Нас вывезут по узкоколейке, а других как, где нет железки?

— Забыл, как зимой выгоняли?

Уезжал утром. Долго кормил Мальчика, еще дольше накладывал на телегу сено, увязывал его, запрягал коня, надеясь, что мать изменит свое решение. И сестренки то и дело поглядывали на нее, ожидая того же. Мать терпела, терпела и прикрикнула:

— Долго еще копать будешь?

Он последний раз окинул взглядом огород, погладил крутые бока незаконченного сруба и понужнул коня.

Уезжать из деревни мальчишке приходилось много раз, но он всегда знал, что вернется. Теперь такой уверенности не было, и он продолжал спорить с матерью. Зачем отправила его раньше всех? Вдруг фашисты передумают и будут увозить валышевцев не из Тулебли,

а с какой-нибудь другой станции? Вдруг не завтра, а через несколько дней? Что ему тогда делать в Тулебле и как объяснять, если спросят, зачем он туда пожаловал? О Мальчике беспокоился: понравится фашистам или полицаям, так отберут, и не пикнешь. И еще, не сознавая этого, Гришка тосковал о срубе. Раньше все плотницкие работы делал отец, он только помогал ему, чаще всего что-нибудь поддерживал. Землянку строил без особой охоты, а насыпуху, пристрой к ней,— уже с желанием. И дом бы он построил! Сам! И был бы его дом лучше прежнего!

Не дали, сволочи! И посадить почти ничего не дали. И опять выселяют неизвестно куда. Там снова жить в баньке или в землянке, опять в голоде и холоде. Когда все это кончится? Глаза бы ни на что не смотрели!

Как Мальчик перешел на шаг, свернул на небольшую, заросшую травой поляну и стал щипать верхушки, он не заметил, а заметив, одобрил такое своеволие, распряг коня, пустил пастись. Сам лег на траву. К чему-то припомнился один день, вернее, вечер. Валышевский колхоз носил тогда название «Красный май», отец был председателем, а правление размещалось на недалеком хуторе, где приезжие артисты устроили концерт. После него мужики расселись на бревнах и тянули бесконечные сигарки. Бабы тоже собрались в кружок, у них шла своя беседа, а возбужденные невиданным зрелищем ребятишки носились по поляне, кувыркались через головы, пытались ходить на руках. Сколько ему тогда было? Лет пять. Насте — три, выходит, меньшие еще не родились. Настя уснула, и мать стала звать его домой, а на него хохотунчик напал, он раздурился, и в это время раздался какой-то дикий, наполненный ужасом крик. Кричал деревенский дурачок, почти старик, которому какой-то шутник накинул на шею хомут. Гришка тогда испугался, что и с ним могут такое устроить, дал реву и сам запросился домой.

Первый детский страх держался долго. Если мать или отец собирались пойти на другой конец улицы, они говорили: «Надо в деревню сходить. Пойду в деревню». Он тоже бегал «в деревню» к приятелям, но после этого случая сиднем сидел дома. Сверстники запомнили его страх и, стоило ему появиться на улице, кричали: «Где у нас хомут заваялся? Надо его на Гришку одеть». Он давал реву и несясь домой.

И мог этот страх породить другие страхи, если бы отец не заметил слабости сына и не вразумил: «Хомут обыкновенная вещь, Гриша, бояться его не надо. Станут пугать, ты скажи, что в колодец его бросишь — враз отстанут». Он думал над словами отца весь день, вечером пошел на улицу, присел рядом с мужиками и стал смотреть на небо. Его заметили, кто-то привычно пошутил: «За хомутом надо сходить — Гришка Иванов вон шею вытягивает». Он набрал полную грудь воздуха и крикнул: «А я его в колодец брошу, вот!» На мужиков взглянул с вызовом, с места не сдвинулся.

Весть о том, что Гришка Иванов перестал бояться хомута, в тот же день разнеслась по Валышево, и от него отстали.

Гришка перевернулся на спину, закинул руки за голову. На деревьях беззаботно щебетали птицы. Вокруг было тихо, но война не отпускала парня, мать и сестренки не выходили из головы. Удастся ли свидеться? И с ними все может случиться, и с ним — тоже. Появятся немцы на дороге, примут за партизана — и убьют. Это еще ладно, а если пытаться начнут? Захочет летчик потренироваться в меткости, сбросит бомбу на стоящую внизу телегу или решит опробовать пулемет — тоже смерть. За каждым кустом смерть, а ехать надо.

Он запряг Мальчика и тронулся дальше. Перед Лутовинино пошли кусты, перелески, заросшие бурьяном поля. От деревни кто-то шел. Он обрадовался — можно узнать, есть ли в ней немцы, не лучше ли объехать Лутовинино

стороной? Эге, узнаешь! Полицай! Повернуть обратно — начнет стрелять, поднимет тревогу...

Уже недалеко до него. Идет вразвалочку, винтовка за плечом, но глаз с повозки не сводит. Знакомый! Гришка догадывался об этом и раньше, но не хотел себе верить.

Полицай был настроен благодушно, даже улыбался:

— Куда едешь?

— В Тулеблю.

— Ха, что же это ты раньше всех убегаешь? Сегодня мы Лутовинино выкидывали. Ваш черед завтра.

— Сказали, что документы на коня надо справить, — соврал Гришка.

— А что везешь?

— Да сенишка вот прихватил коню, одежонку какую-то мать сунула, — заговорил Гришка и осекся, почувствовав, как пробиваются в голосе заискивающие нотки, и вспомнив, что так же говорил с кладовщиком в лагере, называя хлеб — хлебушком, а штаны — штанишками.

— И сала, поди, мать на дорогу дала? Не ври только — хуже будет.

— Нет у нас сала, — твердо сказал Гришка.

— А это мы сейчас проверим. Проверим, — приговаривал полицай, вытряхивая содержимое мешка на телегу. — Не соврал.

Они стояли друг против друга, разделенные телегой. На ней, стволом на Гришку, лежала винтовка. Он скосил глаза на деревню, равнодушно, как ему думалось, взглянул на оружие.

— Отойди от телеги. Еще. Вот там и стой, — приказал полицай.

Гришка стиснул за спиной руки, отвернулся. Небо по-прежнему было высоким и синим. Над деревней парил коршун.

— А что у тебя под сеном припрятано? — спросил полицай.

— Поищи, — сквозь зубы выдавил Гришка.

— Нашел дурачка! Сам поройся, да так, чтобы мне все видно было,— приказал полицай, прихватывая винтовку и отходя от телеги.— Ну! Шуруй давай!

На телеге ничего спрятано не было. Гришка развязал веревку, без опаски переверорошил сено и взглянул на бдительного полицая — что еще придумаешь? Тот загнал патрон в патронник, усмехнулся:

— Торопишься? А ку-да-а? Мне с тобой, может, поговорить напоследок хочется. В мешке у тебя, как у каждого лодыря в кармане, блоха на аркане да вошь на цепи. Под сеном тоже пусто. Что мне с тобой делать прикажешь?

— А зачем тебе со мной что-то делать?— стараясь казаться спокойным, но помня с ударением сказанное «напоследок», спросил Гришка.

Не отвечая на этот вопрос, полицай задал другой:

— А хочешь, я тебя убью?

— За что?— поперхнулся Гришка, с тоской думая о том, что если бы не выгнала его мать, не было бы и этой встречи.

— Да просто так.

— Как же ты меня убьешь, если мы с тобой в одной школе учились? Помнишь, в Косино? В волейбол в одной команде играли! Помнишь? — последний довод показался Гришке особенно убедительным, но полицай пропустил его мимо ушей

— Это когда было, а теперь наша власть! Вот застрелю тебя, и мне ничего не будет, и никто не узнает — двое нас на дороге.

«И ничего не будет,— повторил про себя Гришка,— даже если кто и третий появится. Тут он прав!»

— Испугался? Не хочешь умирать, большевистское отродье? Ладно, дарю тебе жизнь, а лошадь...

— Ее-то за что?— забыв о себе, взмолился Гришка.— Она чем тебе помешала?

— Ишь ты какой! Тебе и себя и коня жалко, а о том

не подумал, что я вас обоих могу шлепнуть? Что молчишь? Ладно, езжай — пошутил я.

Гришка оторопело взглянул на однокашника: на самом деле отпускает или боится стрелять лицо в лицо и пальнет в спину?

— Езжай, пока не передумал.

Гришка подобрал вожжи и тронулся. Мальчик пошел непостижимо медленно, до десяти досчитать можно, пока шаг сделает. И подхлестнуть нельзя, чтобы не показать слабость, а однокашник, может, уже вскинул винтовку, прицеливается. Страшно хотелось оглянуться и посмотреть, что он делает, еще больше — прыгнуть с телеги, бежать и еще раз обмануть судьбу. На этот раз Гришка чувствовал смерть так близко, как не чувствовал, когда попадался с гранатой и пистолетом, когда убегал из лагеря. Он ощущал ее спиной — будто кто засунул кусок льда между лопатками и затылком. Ощущал одеревеневшей шеей. Ждал, что вот-вот грянет выстрел, он не услышит его и свалится с телеги с простреленным сердцем или с перебитым позвоночником. Может, лечь — ездят же так, когда никуда не торопятся и ничего не опасаются? Но не оглянулся, не побежал, не лег и коня не подогнал. Это, наверное, и спасло. Собака кидается на того, кто боится и бежит от нее, а чем этот гад лучше собаки? Не выстрелил! И Гришка опять рассердился на себя: врагу страха не показал, но испугался же, так испугался, что руки едва удерживают вожжи. Полицай этого и добивался. И победил? Ну, это как сказать? Один с винтовкой, другой с голыми руками. Вот если бы на равных. Ух, гад, прихлебатель фашистский! Собачник к месту вспомнился. Лешка Ванчуркин. Этот сам напросился возить фашистам разные грузы и вырядился в немецкую форму. Когда всех угнали в Дедову Луку, откапывал ямы и все греб, греб. У него и золотишко появилось, и две коровы, и птицу всю сохранил, и с немцами бражничал, самогонку для них гнал.

Много раз думал Гришка о таких людях и не понимал их. Немцы глумятся над русскими, убивают без счета, потому что решили покорить, и за людей не считают, а свои-то почему своих топят, их беде радуются и на ней наживаются? Такие хуже фашистов, хуже жандармов и эсэсовцев. Такие по кивку головы в немецкой каске родную мать зарежут. И уж совсем не понимал девчонок, которые стали работать переводчицами, пошли, как говорила мать, в полюбовницы. Это, по его мнению, еще хуже. Им же целоваться приходится с немцами. Целоваться! Подумаешь о таком, и тошнота к горлу подкапывает.

Полицай не наврал — деревня Лутовинино была пуста. Двери некоторых домов и надворных построек забиты досками, а большинство просто прикрыты, иные распахнуты настежь. Люди не верили, что когда-нибудь вернутся домой, и не надеялись, что в спешке прибитые доски могут спасти дома от огня и разора. Обрывки тряпок, бумаг, выброшенные в последнюю минуту всякие вещи валялись на улице. Из одного окна выглядывала большая голубоглазая кукла.

От этой картины у парнишки пересохло в горле. Он хотел остановиться у колодца, но вместо этого понужнул Мальчика, чтобы скорее миновать наводящую на него тоску и ужас пустую деревню.

13. НА ПСКОВЩИНЕ

Немцы оказались аккуратными и привезли валышевцев на станцию точно в назначенное время. С Мальчиком хлопот тоже не возникло — для перевозки скота был выделен специальный вагон. Паровозик гуднул, небольшой состав потянулся на запад и утром остановился на каком-то полустанке в Дновском районе. Отсюда людей погнали в большую деревню Телепнево. Молодых мужчин в ней почти не осталось — воевали в армии

или в партизанских отрядах,— парни, подрастая, тоже уходили в партизаны, немало жизней унес тиф, поэтому всем прибывшим нашлось место под крышей.

Семью Ивановых устроили в меньшей половине дома Ерохиных. В первые дни, замечал Гришка, мать нет-нет да приложит руку к стене, словно ощупывая ее прочность, а то и щекой к ней приложится. Глаза у нее в это время мечтательные делаются, теплые. Окна зачем-то без конца мыла и не могла нарадоваться, какие они большие и как светло от них в комнате. Еще больше радовалась русской печи. Пока она не особенно нужна, но скоро осень наступит, за ней зима. В тепле проживут ее ребятушки.

Хозяин дома воевал, жена его оказалась женщиной доброй, и скоро обе семьи зажили, как одна,— и матери подружились, и Гришка со своим одноклассником Лешкой и его старшим братом Михаилом. Новые друзья показали леса близ деревни, землянки, оставшиеся после сорок первого года, разные укромные местечки. Леса оказались небольшими и пустыми: война по Псковщине прокатилась быстро и не оставила после себя заметных следов. Сколько ни обыскивал Гришка землянки и окопы, разжился лишь заржавленным штыком. Как-то при матери неосторожно попенял Лешке, что ничего не может найти. Она обрадовалась:

— Вот и хорошо! А то бы опять попал в какую-нибудь историю. Мин тоже нет?

— Какие здесь мины?

— Ну, значит, и не подорвешься. Совсем спокойно можно жить.

Хозяйка дала для посадки картошки, ячмень свой посеяли. Гришке с конем всегда находилась работа, мать с Настей тоже прирабатывали. Впервые за два года войны — и не дома даже — спать не на голодный желудок ложились.

До того тихой оказалась жизнь на новом месте, что Гришке было как-то непривычно: ни выстрелов, ни разры-

вов, даже самолеты летали редко. Немцы в деревне постоянно не жили. Приедут, кого-нибудь заберут и быстро обратно. Будто опасаются чего-то. Больше всего удивляли вечерние гульбища парней и девчат, на которые сходились из нескольких деревень. Соберутся и поют, пляшут, танцуют, ухаживают друг за другом, как до войны, а то и подерутся из-за какой-нибудь девчонки. В Валышево о таком не помышляли. В декабре сорок первого ребята постарше сманили его в гусинский клуб на танцы. Только развеселились — Собачник с немцами: «Эт-то еще что такое? Я вам попляшу! Валенки снять и поставить к печке!»

Всех парней разутыми оставили. Гришка был в сапогах и до полуночи бегал по домам танцоров, говорил матерям, чтобы несли в клуб сапоги или ботинки.

Тихая жизнь продолжалась, однако, недолго. Однажды утром знакомые окрики немцев и рев машин заставили Гришку выскочить во двор. У ворот стоял Лешка и выглядывал в щелку. Оглянувшись, крикнул:

— Жандармы на облаву приехали!

Раздумывать было некогда. Заскочили в дом, предупредили об опасности Михаила, схватили по куску хлеба и огородами, задами — в лес. Остановились перевести дух за большой поляной.

— Здесь и переждем? — спросил Гришка.

— Можно здесь, а можно и дальше прогуляться, — как-то неопределенно ответил Михаил. — Я знаю избушку лесника, где партизаны бывают.

— Хочешь сообщить, чтобы на жандармов напали?

— В отряд хочу попроситься.

— И я тоже, — сказал Лешка.

Гришка вздохнул:

— Мне нельзя — семью надо кормить...

— Ну и оставайся. Сегодня убежал, а завтра не успеешь и поедешь в Германию немцев кормить.

— Так-то так, но...

— Ты с нами или?..

До дома лесника дошли без остановки. Перед ним залегли — вдруг полицаи, а не партизаны в доме. Из него никто не показывался.

— Партизаны, поди, ночью сюда приходят, — высказал предположение Гришка.

— Надо идти и посмотреть — сколько тут лежать можно? Пошли давай, — поднялся нетерпеливый Лешка.

— Всем нельзя. Лучше одному. Мне надо идти, — твердо сказал Гришка. — Скажу, что заблудился и зашел узнать, как выбраться к деревне, а вам не поверят. Если попадусь, убегайте. Хлеб вам оставляю, а то и мне не поверят.

Братья Ерохины еще раздумывали, соглашаться или нет, а он отполз назад и пошел влево. Отойдя подальше, повернул к дому и сделал вид, что очень обрадовался, увидя его, пошел к нему скорым шагом. Постучал в окно. Выждал и снова постучал. Никто не отозвался. Поднялся на крыльцо, приоткрыл дверь в сени. Спросил:

— Дяденька! Тетенька! Есть тут кто?

Тишина.

Входить в дом было страшно, уходить, ничего не узнав, еще страшнее. Уже взялся за ручку двери в дом, как резко захлопнулась сенная. Сердце ухнуло, перехватило дыхание — ждал, что набросят щеколду и закроют сени. Ждал, что из дома кто-нибудь выскочит, но все было тихо. Слышался лишь шум верхового ветра. Не он ли дверь захлопнул? Подошел к ней, чуть нажал — она легко подалась. «Вот дурак! Ветра испугался!» И, пересиливая страх, рванул дверь дома. Кроме стола и соломы на полу, в нем ничего не было, и ничто не указывало на недавнее пребывание в доме человека.

В лес вернулся тем же путем, которым шел к дому. Друзья бежали навстречу, вытянув шеи: ну что?

— Никого. Будем ночевать?

— Ну уж нет, лучше пойдем к землянкам.

Скоро другое происшествие всколыхнуло деревню. Жандармы арестовали Николая Кокорина и, пока гнали по улице, избили до полусмерти.

Полицаи пустили слух, что Кокорин укрывал партизан, а приходили к нему той ночью провокаторы. Как всегда в таких случаях, толки разные пошли. Одни осуждали Кокорина — знал же, что фрицы «подсадных уток» используют, даже ложные партизанские отряды создают, так почему доверился незнакомым людям? Другие оправдывали: а если бы настоящие партизаны к нему постучали, он дал им от ворот поворот и люди погибли? Как бы ему жить после этого? Тем и другим пришлось задуматься: что делать, если и к ним заявятся люди в русской одежде, на русском же языке скажут, что они партизаны, и попросят о помощи? Отказывать вроде бы после такого урока надо, но повернется ли язык?

Гришке на эти вопросы пришлось отвечать через какую-то неделю, ни с кем не советуясь. Окликнули его вечером недалеко от деревни трое. Сразу по имени назвали, стали об отце и матери расспрашивать, о том, как ему живется здесь и как раньше жил. Допрашивали двое. Третий стоял поодаль и стерег всех. По понятию Гришки, партизаны так и должны вести себя, но к Кокорину заходили тоже трое. Не те ли самые и его надуть собираются? На вопросы отвечал коротко, чтобы ничего лишнего не сболтнуть и свои мысли не выдать.

— Осторожничаешь, парень, боишься нас?

— Никого я не боюсь.

— То и видно, но поступаешь правильно. Не болтай и о том, что нас видел и о чем мы с тобой толковище вели. Понятно?

— Не маленький.

Усмехнулись:

— Тогда посиди здесь полчасика, раньше не двигайся.

Ушли, а у Гришки на душе кошки заскребли. Глаза у него зоркие, слух хороший, и нос за версту табачный

дым чует. Пока разговаривали, кое-что сообразил. Все трое курили не вонючие немецкие сигареты, а самосад. Полицей, те в теле и почти всегда «на взводе». Эти — ни-ни, и лица у них худющие. По одежде и рукам видать, что не в избах живут и умываться им не часто приходится. Посиживают спокойно, но все видят и в любую секунду на ногах оказаться могут. И запах от них травяной идет. Лесные они люди, но кто — настоящие партизаны или ложные? И зачем он им понадобился?

В тяжких раздумьях час, наверно, прошел, но домой сразу идти не решился — мать увидит, что с ним что-то неладно, и тоже допрос учинит. Допоздна проболтался с ребятами на улице, но и они заметили, что ему не по себе.

— Ты что как индюшка квелый и не поквохчешь даже? — спросил Лешка.

Смысл сказанного дошел не сразу — о другом думал, но вывернулся:

— Утром твоя мать сказала: «Гришка, возьми мастинку, слазай в истенку и набери картохи». Вот и думаю, что она просила сделать?

Лешка рассмеялся:

— Теперь-то ты все понимаешь, а вот когда приехал, трудно тебе что-нибудь втолковать было.

— Так меня в школе псковскому языку не учили

— Поводишься с нами, на пятерку знать будешь.

Подошла соседская девчонка, ребята от него отстали, а он стал вспоминать, как говорили те трое. Псковских словечек у них вроде не было. Выходит, не местные. Рассказать о них ребятам? Предупредили же, чтобы не болтал, да и не надо никого в это дело впутывать. Что случится, так пусть с него одного спрос будет, а то всех заметут. Так-то оно так, но ему-то как быть? Не посидеть ли дома? Если те люди партизаны, то в деревню не придут. Провокаторы — могут, но он тогда будет знать, кто они на самом деле, и на их удочку не попадется. «Я им тоже проверочку устрою — посмотрим, кто кого перехитрит,—

радовался Гришка, но через три дня по-другому рассудил: — Партизаны они, а я, дурак, от них прячусь!» Тут еще мать подлила масла в огонь. Давно ругалась, что сена мало коню припас, и «тяжелую артиллерию» в ход пустила:

— Придется мне самой косить — до тебя не дозовешься.

Гришка схватил литовку и в лес, где была присмотрена хорошая поляна, а там будто ждали его и сразу быка за рога:

— Ты от нас не скрывайся, Гриша. Надо будет, мы тебя и под землей найдем. И не бойся — мы партизаны и нуждаемся в твоей помощи.

— В какой?

— Люди к тебе будут приходить ночью, пароль называть, а ты станешь отводить их к нам.

— Оружие дадите?

— Его-то как раз тебе и не надо. Забыл, какая история с наганом получилась?

Такого вопроса Гришка не ожидал и, отведя глаза, буркнул:

— Я его немцам отдал.

— Отдал... негодный пистолет, а наган сохранил. Где он?

— Кто?

— Наган.

— А, наган...

Той осенью пришел в Валышево брат матери дядя Миша. Помог ему закапывать зерно. Мать не утерпела и пожаловалась на старшего, который из-за своей неразумности чуть не погубил семью. Дядя Миша ему тоже попенял, а когда остались одни, попросил рассказать о пистолете подробнее. Гришка ему все, как на духу, и выложил. Дядя Миша был с ним тоже откровенен и сказал, что хочет уйти к партизанам. К ним лучше приходить с оружием, и Гришка отдал ему наган.

Пришлось об этом рассказать.

— Молодец — не соврал, — похвалили партизаны. — А чтобы тебе спокойнее жилось, знай, что мы о тебе все от твоего дяди Миши и знаем. Он в нашем отряде воевал и говорил, что тебе можно довериться. Погиб недавно. Матери об этом не говори, а то начнет интересоваться, от кого узнал, и разведет турусы на колесах.

Гришка оторопел от этой страшной новости. Но побоялся, что слезы тут же всё погубят, глотнул судорожно и выпалил:

— Какой пароль будет?

— Во, куда хватил! Пароль на каждую операцию разный назначается и отзыв тоже.

— Какой еще отзыв?

— Человек тебе должен правильно назвать пароль, а ты должен ответить слово в слово, что мы тебе скажем, иначе он не доверится. Понял? По рукам, что ли?

— По рукам.

Коса в этот день пела в руках парня, сена накопил много и домой бежал весело — он будет помогать партизанам! Вечером сказал матери, что дома спать жарко и душно, поэтому он перебирается в сенник.

— Спи там, мне-то что, — согласилась мать и тут же огорошила таким вопросом, от которого в жар бросило: — Не зазнобу ли уж завел, сынок?

— Скажешь тоже! Никого я не завел. Хочешь знать, так я ни с одной девчонкой и не целовался даже. Вот!

— У, какой строгий стал, и пошутить с тобой нельзя, — притворно удивилась мать.

— Пошутить?! Ты такое сказала, что уши вянут. Как не стыдно только?

Мать потаенно, будто что вспоминая, улыбнулась.

Партизаны показали, как будут стучать проходящие: три размеренных удара, словно вода после прошедшего дождя с крыши капает, но когда пришел первый, Гришка

услышал его тихие шаги, поспешил навстречу и чуть не столкнулся с немцем!

— Гутен абенд! — прохрипел растерянно.

— Гутен абенд! — тихо отозвался «немец» и продолжал на чистом русском языке: — Похоже, дождь будет?

— Нет — солнце без туч закатилось! — едва не закричал Гришка — пароль был назван правильно, а немецкие шинель и пилотка ерунда — бежал человек из лагеря, убил немца и оделся в его форму.

Домой вернулся с сознанием, что, может быть, помог человеку спастись от смерти. Радовался и тому, что разгадал секрет партизан: не знакомому с местностью человеку проще найти деревню и в ней нужный дом, чем ночью отыскать в лесу нужную землянку. Вот зачем понадобился он партизанам. Еще двоих отвел, а через день, в середине ночи, бородатый и немолодой мужик притащил тяжелый мешок. По тому, с каким облегчением сбросил его с плеч, по запаренному виду пришельца Гришка догадался, что пришел тот издалека.

Двор и огород у хозяев были большие. Во дворе напротив крыльца находились два хлева, тут же стоял сарай для сена. В огороде была баня и еще один сенник. К нему сделан пристрой, в котором раньше хранили полову и другие отходы. Теперь пристрой был не нужен, его дверь давно завалили старыми досками и бревнами. Гришка сделал в пристрое тайник, проникать в который можно было из сенника, где сгнило нижнее бревно. Оставшись один, перетащил мешок в тайник. В нем прощупывались какие-то брусочки. Развязал — мыло! «Один возьму, так большой беды не будет, — пронеслось в голове, — а мать обрадуется». Послюнявил палец, потер брусочек — не мылится! Что за штука? Эрзац опять какой-нибудь немецкий? Слетал в баню, окунул мыло в таз с водой — результат тот же. Палец нащупал в брусочке дырку. Она зачем? А черт его знает! Раздосадованный, водворил мыло на место.

Партизаны пришли за мешком на другую ночь, а че-

рез несколько дней прошел слух, что от взрыва на железной дороге полетел под откос фашистский поезд. Сначала он не связал одно с другим, но скоро сообразил, что в мешке были брусочки тола, а дырки в них приготовлены для запалов. Зачем понадобилось оставлять у него мешок всего на одну ночь, догадаться не мог, но, видно, и в этом была какая-то необходимость, иначе партизаны обошлись бы без него.

14 РОДИВШИЕСЯ В РУБАШКЕ

Остаток лета промелькнул как один день. Картошка в этот год уродилась на славу, и телепневцы то и дело шли к Ивановым, чтобы помогли ее выкопать и убрать. Помощники на работу наваливались дружно, Настя и Нина помогали, и хозяева, видя такое усердие и добросовестность, на оплату не скупились. Мальчик тоже не заставался. То надо сено кому-то привезти, то дрова, а то зерно доставить на мельницу. Целыми днями минуты свободной не выдавалось.

Партизаны будто провалились. То ли ушли в другое место, то ли не нужен им стал Гришка. А он ждал их каждую ночь и из сенника перебрался в дом, когда уже начала подмерзать земля.

Слетел лист с деревьев. Пошли затяжные дожди. Первый снег посыпался. В середине ноября задул северный ветер и снег пошел по-настоящему. Мохнатый, крупный, он валил двое суток, дворы не успевали от него очищать.

В это утро солнце поднималось медленно. Сначала над лесом появилась одна багровая полоса, за ней вторая, третья. Они стали расти и светлеть, но скоро скрылись в тучах. Казалось, вот-вот опять пойдет снег, однако небо расчистилось, и бледное зимнее солнце зажгло миллиарды маленьких солнц в наметенных сугробах, на крышах домов и сараев, на белых шапках деревьев.

Прошло еще несколько дней. Снег не таял. Встали зимние дороги. Тогда только раздался знакомый стук в окно. Гришка вскочил раньше матери:

— Лежи. Это Лешка. Мы договаривались.

У сенника его ждал высокий, черный, чуть постарше его партизанский тезка Григорий.

— Я уж думал, вы ушли куда-то, — выговорил ему мальчишка.

— Пока нужды не было, не тревожили напрасно, а теперь... Тебе дров не надо?

— Да заготовил я.

— Не беда — лишний воз в хозяйстве пригодится. Приезжай завтра после полудня к тем землянкам, возле которых штабелек стоит. Веревку захвати, чтобы увязать, и топор. Не опоздай смотри!

— Я когда-нибудь подводил?

— Ух, какой серьезный! Шлепай домой, чтобы мамка тебя не хватилась.

Гришка догадался, что партизанам надо что-то вывезти из леса и схоронить у него, но расспрашивать не стал: они не любили отвечать на досужие вопросы и отделялись обычно шутками. Не хотят говорить, и не надо — сам все узнает, если без него обойтись не могут.

Узнал! Григорий и незнакомый, с рыжеватой бородой мужик первым делом стал укреплять на санях приготовленные заранее из тонкоствольных березок дуги и обкладывать их сначала тонкими, а потом и толстыми двухметровыми чурками. Впереди отверстие заложили короткими поленьями, ушли в землянку и вывели из нее раненого в ногу человека. Заросшее черной щетиной лицо его было серым и кривилось от боли, нижняя губа страдальчески прикушена. Заметив во взгляде раненого удивление и даже разочарование, Гришка посмотрел на него с вызовом. Раненый покачал головой и полез в укрытие ногами вперед. Сзади вход заделывали особенно тщательно, полешко к полешку подгоняли. Сверху добавили длинных чурок,

крепко увязали воз, пошатали его, проверяя на прочность, и тетка хлопнул Гришку по плечу:

— Поезжай, друг. Спрячешь товарища в тайничке, а ночью мы его заберем. Тебя будить не будем — можешь спать спокойно.

Гришка не стал скрывать удивления:

— Ночью заберете? Так зачем в деревню везти?

— Так надо! — со значением сказал тетка. — А зачем и почему — потом узнаешь.

— Все потом да потом, нет чтобы сразу сказать, — проворчал Гришка, трогая коня.

— Ни пуха ни пера! — пожелал на дорогу тетка.

Гришка с удовольствием послал его к черту, хотя понимал, что на этот раз партизаны доверили ему по-настоящему серьезное дело. И возгордился, героем себя почувствовал, шагал рядом с возом весело, даже «Катюшу» насвистывал, пока не выехал из леса и не увидел у крайнего дома, в котором жила тетя Варуша, немецкого часового. Тут он ругнул тещу уже совсем по-взрослому.

Остановил коня, сделал вид, что затягивает хомут, а глаза туда-сюда, туда-сюда. Что делать? Стукнул кнутом по дровам:

— Немцы в деревне! Слышите?

— Слышу. Если заставят разбирать воз, сзади меня открывай. Сколько их?

— Пока только часового вижу. С автоматом!

— Я его уложу, а ты автомат забирай. Коня поставь так, чтобы развернуться можно было. И трогай — нельзя долго задерживаться, — раненый сказал все это так спокойно, будто ему каждый день приходилось ездить в возе дров по деревням, занятым немцами.

Гришка послушался и к поджидавшему его фашисту заковылял, грея в себе надежду, что как-нибудь пронесет. А почему бы и нет? За дровами он ездит часто. И себе порядочно навозил, и соседям. Это вся деревня может подтвердить. Все так, все так, но раньше он возил одни

дрова, а теперь... Надо сделать вид, что и сегодня везет только дрова и потому совсем не боится часового, надо обязательно поздороваться с ним, улыбнуться...

Бьются в голове мысли, насканивают друг на друга. В глазах рябит, голова вниз клонится, чтобы фашиста не видеть. Не может взять себя в руки Гришка, не может казаться спокойным и равнодушным, не в силах одолеть жесткой петлей сжимающий горло страх. Часовой уже у воя. Злющий, автоматом размахивает. Надо часовому что-то сказать, но губы онемели, свело их в какую-то идиотскую улыбку, и не то, чтобы говорить, дышать нечем. Гришка видит, как фриц тянется к топору, видит, как от одного его удара двумя струями разлетаются в стороны концы перерубленной веревки и разъезжаются, начинают скатываться вниз уложенные сверху чурки! Если покажутся дуги, короткие поленья?..

День померк, на глаза накатил темнота, Гришка не сразу заметил, как выскочила из дома полураздетая тетя Варуша, бросилась к часовому, стала оттаскивать от воя:

— Чего к мальчишке пристал — нашел партизана! Племянник он мой, племянник! Во-он в том доме живет. До смерти перепугал малого! Киндер он, киндер — разуй глаза, бесстыжий! Веревку-то зачем испортил — дров никогда не видал, что ли?

Что-то еще кричала тетя Варуша, оттесняя часового от воя. Возмущенно прыгала бородавка на ее лице. Она не знала, что везет племянник, и чувствовала себя правой. Напор тети Варуши подействовал на немца, он отвечал все реже. Заметив это, она пошла на мировую:

— Замерз тут стоять? Заходи в дом погреться, чаем тебя напою, — и пожилой, только теперь Гришка рассмотрел часового, немец бросил топор и пошел на свой пост.

Под горячую руку досталось и Гришке:

— Ты-то что верстовым столбом стоял? Не мог сам все обсказать?

Все еще ворча и ругаясь, тетя Варуша помогла уложить свалившиеся чурки, закинула на воз концы веревки, однако стянуть их и связать было невозможно.

— Ладно, пара чурок мне за твое спасение, племянничек,— сказала тетя Варуша и сбросила их на землю.

Но веревка снова не связывалась. Тогда Гришка забрался на воз, ухватил ее концы в одну руку и так, не дыша, доехал до дома. Проехать незамеченным в огород не удалось. Мать выбежала во двор:

— Работник у меня растет, ну и работник! — и осеклась: — А что это на тебе лица нет?

Гришка посмотрел на нее долгим отсутствующим взглядом — о чем это она? — и, с трудом ворочая пересохшим языком, прохрипел:

— Принеси попить, мама.

Удерживая концы веревки левой руки, правой взял ковш и припал к нему. Ковш отбивал на зубах дробь, вода стекала по подбородку, а он все пил и пил, как пьют измученные длительной жаждой люди.

— Да что с тобой случилось-то? — нетерпеливо воскликнула мать. Не дождавшись ответа, обиженно поджала губы: — Онемел, что ли? Помочь тебе?

Гришка вернул ей пустой ковш и попросил:

— Не мерзни, мама. Я сам все сделаю.

— Ну и делай, раз такой гордый,— совсем рассердилась мать и ушла в дом.

Он направил Мальчика в огород, посидел там на возу, прислушиваясь к головной боли и слабости в теле, потом стал разбирать дрова. В лесу он помогал загружать воз. Там чурки казались легкими, а за дорогу будто потяжелели. Еле сволакивал их на землю, с трудом укладывал к задней стенке конюшни. К раненому добрался уже в темноте, отвел его в тайник, укрыл как следует сеном и спросил, не принести ли ему какой еды?

— А матери что скажешь?

— Я незаметно.

— Вот это «незаметно» нас чаще всего и губит.

Раненый слышал перебранку тети Варуши с часовым, разговор Гришки с матерью и посоветовал быстрее идти домой. И Гришке хотелось этого, но надо было распрячь Мальчика, подбросить сена и еще, простодушно думал Гришка, лучше ему подольше побыть на дворе, чтобы не вышло чего плохого.

А у немцев что-то случилось: закричали вдруг, забежали, шум заведенных моторов послышался. Выбежал на улицу — в дальнем краю деревни мелькали красные огоньки машин. Вернулся в тайник, рассказал о внезапном отъезде фрицев. Раненый не удивился:

— Они собирались лес прочесывать, а мы, чтобы отвлечь их, другой удар приготовили, но запоздали почему-то. Теперь порядок. Говори, кто из нас в рубашке родился?

— Не я. Мне на немцев знаете как не везет?

— На них всем не везет, — усмехнулся раненый, — а вот на тебя и на твою тетю мне повезло. Это точно. Беги домой, не карауль меня больше.

В доме было тепло и сухо. На столе исходила паром картошка. Не чувствуя вкуса, он проглотил несколько картофелин и лег. Сделал вид, что уснул. Но не спалось. Среди ночи не выдержал и поднялся «проверить коня». Раненого уже забрали партизаны. И все сделали так тихо, что он, ни на минуту не сомкнувший глаз, ничего не слышал.

«Не бросают в беде своих товарищей партизаны, на большой риск идут, но выручают», — размышлял парнишка и радовался этому.

15. В ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЕ

Выпавший, как все думали — окончательно, снег продержался недолго. На Псковщину прорвались теплые балтийские ветры и без солнца растопили, согнали его. На-

ступила распутица. Дороги раскисли, колеса по ступицу увязали в грязи. В это время, откуда-то издалека, пришла партизанская бригада, без боя заняла Телепнево, Коковкино и еще несколько деревень.

Это очень удивило Гришку. Он думал, что партизанские отряды небольшие, из-за этого прячутся по лесам и если и наносят фашистам урон, то тоже малый. А оказалось, что у партизан целые армии есть и фрицы даже связываться с ними боятся. Побежал своих партизан искать, но никого не встретил, а в соседние деревни не заглянешь — всюду посты расставлены. Тут у партизан порядок получше немецкого, привыкли они к бдительности, дисциплину соблюдают строго.

Не солоно хлебавши вернулся домой. Помыл в луже сапоги, поставил сушить на еще не остывшую плиту, и тут в дом зашли обогреться партизаны. Человек десять. Мать на радостях все припасы на стол собрала. Гости тоже были щедры. Пока чаевничали, рассказали, что бригада долго не задержится, день-два отдохнет и дальше двинется. Не ожидал этого Гришка и еще больше не ожидал, что после ухода гостей исчезнут сапоги. О матери и говорить нечего, такой крик подняла, что хоть из дома уходи, но она уже сама одевалась, чтобы к командирам с жалобой бежать.

— Не ходила бы ты, мама. Им сапоги нужнее, чем мне,— пытался остановить ее, но где там.

— Это я и без тебя знаю, но попросить должны были, а они... Нет, этого я им не спущу, не на ту напали! — возразила мать, хлопая дверью.

Вернулась с полыхающим румянцем на щеках:

— Тебя зовут. Иди, но без сапог не возвращайся.

Пришлось идти. Командир расспросил, кто к ним заходил, во что были одеты, какое оружие имели, вышел в кухню, отдал там какой-то приказ, а когда вернулся, посмотрел на Гришку хмуро, будто он был виноват в случившемся, и сказал:

— Сапоги мы вернем, с кого надо взыщем, а если винтовку в придачу дадим, ты как на это посмотришь?

Гришка в ответ от всей души выдохнул:

— А возьмете?

Командир крякнул от неожиданности, но и отступить не захотел:

— Почему же не взять? Хватит на печке сидеть.

— Я не сижу, я...— начал было Гришка, чтобы рассказать о том, какая у него большая семья и он в ней за отца, но спохватился и умоляюще произнес: — Возьмите, только мамке скажите, что я мобилизованный.

Командир посмотрел на Гришку и спросил озадаченно:

— Может не отпустить?

— Ни в жизнь! Видели же, какая она у меня.

— Видел — навела она нам шороху,— усмехнулся командир.— Ладно, приму такой грех на душу. Отец у тебя где?

— Воюет. С самого начала почти.

Командир присвистнул и отпустил Гришку.

На улицу тот вышел в растерянности: все так просто и легко получилось, что и не верилось. Как-то в июле сорок первого, когда армия отступила, минуя Валышево, через деревню проходила группа окруженцев. Один, совсем молодой, но с заросшим черной щетиной лицом, зашел к ним и попросил поесть. Матери дома не было, он сам накрыл на стол, сбегал в огород за огурцами и предупредил: «С собой возьмите, а пока не ешьте. С молоком нельзя — живот может схватить». Боец усмехнулся: «Знал бы ты, что мы едим! Хлеба с неделю в глаза не видели». — «Все время отступали?» — посочувствовал он. «Отступили без нас, мы догоняем». Разговор пошел на равных, и он спросил: «А почему немец сильнее нас оказался?» Кусок хлеба замер в руке красноармейца, другой он протер слипающиеся, красные от недосыпания глаза и отрезал: «Не знаю, но запомни: фашисты и даль-

ше могут продвинуться, но наш народ не победят никогда! Мы погибнем, такие, как ты, пойдут воевать и фашиста в могилу отправят». — «Куда мне? Я еще маленький», — не согласился он. «Прижмет — по-другому запоешь. Враз повзрослеешь!» Тогда он не поверил красноармейцу, думал, что война кончится скоро, а она все тянется и тянется. И хватит ему у мамкиной юбки сидеть. Настя и Нина уже подросли, работницами стали. Здесь не на передовой, как в Валышево, мать и без него обойдется, а ему настала пора повоевать, с фашистами за все рассчитаться, с Собачниками всякими.

Через день он ушел с бригадой. Матери сказал, что его попросили довести груз до населенного пункта Н., который он полностью назвать не может. Отвезет и вернется. Хорошо все объяснил, но она заподозрила неладное и напустилась на партизан:

— Что делаете? Что делаете? У меня муж воюет, мальчонку-то зачем забираете? Коня возьмите, если вам надо, а его не отпущу.

— Мама, Мальчик останется, я на их лошади поеду...

Больше ничего сказать не успел: мать схватила за руку и потащила домой. Он вырвался, прыгнул на воз и погнал коня. Плач матери звенел в ушах, пока не выехал в поле. И ему слезы застилали глаза — уехал и не простился даже, мать обманул!

Партизанская жизнь, однако, началась совсем не так, как думал. В разведку и даже в отряд бойцом его не взяли, держали в обозе вместе с другими подростками и девчонками. Девчонки иногда уходили на какие-то задания в деревни и страшно воображали из-за этого, а он, кроме своего воза, ничего не знал. Винтовку и ту дали не сразу.

Больше недели прошло, пока ему и еще двум паренькам приказали хорошо накормить лошадей, проверить сбрую и сани для «ночной прогулки». В назначенное время в санях разместились подрывники, и маленький обоз тронулся в неизвестном ездовом направлении. Еха-

ли долго. Остановились в молодом березнячке. Получили приказ развернуться и ждать. Развернулись и ждали в пугающей темноте ночи, в неведении, что будет дальше. Попрыгать и похлопать рукавицами нельзя, чтобы не наделать шума, пальцами шевелить можно, но они к утру перестали слушаться и что-либо чувствовать.

Наконец где-то близко прогрехотал взрыв. Скоро послышалось тяжелое дыхание бегущих. Подрывники попрыгали на ходу в сани и приказали гнать. Вот и вся операция, в которой ему довелось участвовать на вторых ролях, а через день бригада пошла брать город Дно, начались сильные бои и сплошные гонки: вперед с боеприпасами, обратно — с ранеными. Взять город не удалось. Бригаду растрепали бомбардировщики, а подброшенные свежие силы карателей погнали в леса, обкладывая плотным кольцом, чтобы уничтожить под корень. От окружения уходили, прорывались сквозь кольцо и крупными силами, и маленькими группами.

Небольшой отряд с приставшим к нему обозом каратели настигли в какой-то деревушке, где партизаны остановились на ночевку, и хорошо еще, что не успели разоспаться. Обозники бросились запрягать лошадей.

— Назад! — закричали им. — Сами спасайтесь — все равно сена нет.

Остановились в нерешительности, не зная, слушаться или нет. Команда повторилась. Побежали следом за отходящими к лесу и оторвались от преследователей где-то к утру. На день укрылись в густом ельнике. Одни предлагали отходить на восток и переходить линию фронта маленькими группами, может, кому и повезет, другие считали, что это пустое дело: за два с половиной года немцы такую плотную оборону построили, что и мышь не проскочит, и потому лучше уходить на запад, там спокойнее, в крайнем случае можно к любому отряду пробиться или по домам на время разойтись. Весь день прошел в спорах, но к одному знаменателю не пришли и разделились.

На запад пошли те, кто постарше, а такие, как Гришка, двинулись к фронту.

Снова шли всю ночь и прошли, наверно, много, но рассвет застал в таком месте, хуже которого не придумаешь. Сколько ни вглядывались — кругом поля и редкие кустики. Решили сделать последний бросок вперед, вдруг попадется какой ни есть лес, в котором можно отсидеться днем. Бежали неизвестно куда до тех пор, пока не наткнулись на хорошо укатанную дорогу. Слева виднелся сарай. Повернули к нему, а когда разглядели за сараем деревню, на земле едва удерживался сумрак и отступать было поздно. Оставалась призрачная надежда, что фашистов в деревне нет, а свои если и зайдут в это убежище, то не выдадут, да и нечего делать людям в сарае, где валяется несколько старых досок и куча соломы.

Солнце приподнялось над землей, прорвалось сквозь щели. От стены до стены протянулись туго натянутые нити и полосы. Светло стало.

— А в деревне-то немцы, ребята!

Глазастый не ошибся — два солдата неторопливо шли в другой конец деревни. Из-за угла вывернули сани. В них тоже немцы, и направлялись они к сараю. Остановили лошадь напротив него, о чем-то заспорили. Один, наверное старший, махнул рукой, и сани тронулись дальше, мимо сарая, в стенах которого уже летал тихий ангел.

Жители стали появляться. Где-то пилили дрова, в нескольких домах затопили печи. Может, и было в деревне несколько солдат, одни ушли, другие уехали, люди вольными себя почувствовали и принялись за хозяйственные дела? Только понадеялись на это, из крайнего левого дома вышел солдат, чиркнул зажигалкой, подошел к соседнему дому, через окно спросил что-то и побежал обратно. Снова вышел на улицу, уже в шинели и с винтовкой, за ним появились другие. Подошла машина, тупорылая, с брезентовым кузовом. В нее забрались солдаты, в кабину сел офицер.

Пальцы впились в приклады винтовок. Кто-то ойкнул, прикусил губы — куда поедут? Взревел мотор, машина рванулась вперед. К сараю! К сараю! К сараю! Проехали! Солдаты без ранцев. Значит, в любое время могут вернуться. Сиди и гадай, вздумают они на обратном пути заглянуть в «гости» или проскочат мимо?..

Из ворот дома, в котором жил офицер, на коньках вылетел мальчишка чуть постарше умершего год назад Миши. Он был отчаянный и вольный. Кататься не умел, но это его не смущало. Все время рвался вперед, падал, поднимался и снова вперед, и как можно быстрее. Он наплевал и на войну, и на то, что в деревне были немцы.

Гришка вспомнил Валышево. Зимами, едва лед соединял берега Полисти, в том месте, где она ближе всего подходила к деревне, ребята расчищали снег и делали каток. Чтобы не путалась под ногами малышня, проби-вали лунку, замораживали в ней кол, на него надева-ли старое колесо, привязывали к нему длинные жерди, и получалась карусель. Наступал длинный зимний празд-ник! На катке катались до ночи, баловались, исходили криком от дикого восторга.

Гришка протер воспаленные глаза, поморгал от яркого солнечного света — вздремнул, что ли, вспоминая довоен-ные времена? — и снова прильнул к своей щели.

Мальчишка продолжал носиться по улице. Еще одни сани, в которых парень обнимал толстую краснощекую деваху, проехали мимо сарая. Кучка баб собралась на улице и никак не могла разойтись. Деревня жила своей жизнью.

В сарае царило молчание — машина не вернулась и могла появиться в любую минуту.

Самым длинным и невыносимым был последний час. Как-то удержались, не сорвались до наступления полной темноты, но как только вышли из сарая, сразу бегом, на восток, к фронту.

Между двумя деревнями долго пролежали в кустах, ожидая просвета на шоссе, по которому беспрерывно шли машины. Перебежали его и еще шли долго и трудно, голодные, обессиленные бессонными ночами. Снова между двумя деревнями спустились на лед какой-то реки. Прошли с километр, а другого берега не видно. Заблудились? Или вышли на озеро Ильмень? Остановились, стали гадать, снова пошли вперед. Пора бы вроде и озеру кончиться, неужели Ильмень такой широкий? И свет вот-вот забрезжит.

— Берег! — выдохнул кто-то.

Берег! Какой-то низкий. Чей он? Пока шли по озеру, отлеживались на льду, могли сбиться. Дальше поползли. Осторожно. Не дыша. Не спуская глаз с берега. На озере было тихо. Не стреляли ни свои, ни немцы, и вдруг:

— Стой! Кто идет?

Крик заледенил кровь — в голосе слышался нерусский акцент.

— Встать! Руки вверх! Мать вашу так-перетак... — такой родной и смачный мат раздался вслед за грозной командой, что все сомнения исчезли. Свои на берегу! Сво-и-и!

Гришка вскочил и поднял руки, но не удержался, осел на подогнувшихся вдруг ногах и сидел с задранными вверх руками, еще плохо веря в случившееся, не замечая, как потекли из глаз его первые в жизни слезы радости.

— Винтовки оставить снег! Одна поднимайся берег, потом другая, третья, — слышался странный приказ с берега.

Стали подниматься редкой цепочкой на непослушных ногах — напряжение спало и навалилась усталость. Ползли на четвереньках, в траншею сваливались кулями.

— Кто такие? Откуда?

— Партизаны...

— Партизаны?! Почему у партизан глаза мокрая?

Гришка оглянулся — плакал не он один, плакали все. Хотел сказать красноармейцам, что такое оккупация, сколько дней и ночей они выходили к ним, но разглядел на полушубках и шинелях погоны и онемел. Вдавливаясь спиной в стенку окопа и вспоминая об оставленной на льду винтовке, спросил:

— А п-по-че-му у вас погоны?

Бойцы рассмеялись:

— Вчера на свет родился? Чуть не год уже носим.

— Значит, вы свои?

— Можешь не сомневаться, а вот кто вы, еще неизвестно. Поднимайтесь, пойдем проверять, какие вы партизаны. Ахметов, Савельев, проводите перебежчиков до старшего лейтенанта.

Их пропустили вперед. Ахметов и Савельев пристроились сзади со взятыми на изготовку автоматами.

Первый допрос продолжался не более пяти минут: фамилия, имя, отчество, сколько времени был в бригаде, как перешли линию фронта?

Кормили в другой, большой землянке. Пшенная каша, полкотелка, не меньше, поблескивала жиром и была прикрыта куском невиданной американской колбасы. Рядом лежала громадная пайка настоящего хлеба. И запах в землянке стоял такой, что кружилась голова. Гришка схватил хлеб, покидал в рот полными ложками кашу, махом выпил алюминиевую кружку горячего и вкусного чая, отвалился от стола и уснул.

Разбудили его на другой день, сытно покормили и повели снова на допрос, на этот раз длинный и скучный, со множеством вопросов, а после него вместе с другими в баню. Перед ней было построение.

— Хотите бить фашистов в рядах Красной Армии? — спросил командир.

— Хотим! — дружно ответили партизаны.

Ну, а раз так, то после бани всем выдали военное обмундирование и оружие. Прежде чем вручать его Гришке, сивоусый старшина покосился на автоматы и винтовки, примеряя то и другое к щуплой фигурке новобранца, прикинул, что с автоматом ему будет сподручнее, но и засомневался:

— Умеешь ли ты из него стрелять? Своих не побьешь часом?

— А что тут уметь? Из немецкого стрелял.

— Я тебе отечественный выдаю.

— Механизмы-то одинаковые, — вразумил старшину Гришка и уверенно протянул руку за личным оружием.

Брюки «гали», гимнастерка с непривычным стоячим воротником, шинель — все великовато, но не беда, главное, что полная военная форма, каждый день свежие газеты, в которых печатаются сводки Совинформбюро. Оказалось, что только на северном участке громадного фронта еще стоит затишье, а всюду идут бои. И какие! Немцев разгромили не только под Сталинградом, но и под Курском, освободили Донбасс, Харьков, Днепропетровск, Кировоград, Полтаву, Чернигов, совсем недавно, накануне дня Октябрьской революции, Киев и много других больших и маленьких городов.

Гришка читал и перечитывал газеты, стараясь охватить все, понять, что же происходит на фронте. Да что там газеты. Солдатскую книжку и ту рассматривал по нескольку раз в день, без конца вглядывался в начертанные ротным писарем слова: Иванов Григорий Филиппович, рядовой 299-го стрелкового полка, 255-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Не Гришка уже он, а Григорий Филиппович Иванов! И кругом одни свои, все в шинелях и полушубках. И нигде в округе не встретишь ни немецких солдат, ни жандармов, ни эсэсовцев. Ходи — и не оглядывайся, спи — и никого не бойся! Сказка какая-то!

В наступлении

1. СНОВА ЧЕРЕЗ ИЛЬМЕНЬ

К утру наступающего на земле дня 14-го января 1944 года на обоих берегах озера Ильмень было тихо. До рассвета оставалось всего ничего, немцы были уверены, что русские разведчики в это время не сунутся, и уже не освещали озеро ракетами и не обстреливали его. Тишина сохранялась и на восточном берегу, где в устье реки Мста сосредоточились на исходных позициях 58-я отдельная лыжная бригада, 299-й полк 225-й стрелковой дивизии, ее лыжный батальон и два аэросанных батальона. Разговаривали шепотом, ступали тихо, не курили. Обманчивая тишина не взорвалась, как бывает перед началом наступления, залпами артиллерийской подготовки. По тихо переданной команде батальоны и роты построились и походными колоннами двинулись к западному берегу. Среди этой молчаливой, с минуты на минуту ожидающей встречного огня, ранения и смерти массы людей шел рядовой Иванов. За спиной набитый патронами вещмешок, на груди автомат с полным диском, еще один диск на ремне, гранаты в карманах шинели. Как и всем, ему было неуютно от неизвестности, но сердце часто билось в груди не столько от тревоги, сколько от радости — не кто-то, а он шел в наступление, и, кто знает, может быть, ему выпадет счастье освободить псковскую деревню Телепнево, в которой все еще живут в неволе мать и сестренки.

Занимался поздний рассвет. Стала видна большая, вытянувшаяся вдоль берега деревня Береговые Морины, первая, которую нужно было освободить в этот день.

Немцы не стреляли. Подпускают ближе или не видят? И что будет дальше?

А дальше произошло совсем не так, как думал начи-

нающий автоматчик Иванов и даже вдоволь навоевавшие солдаты и офицеры. Уже отчетливо стал виден вражеский берег, крыши домов, сараев, бань и других построек деревни, а пушки за спиной не загрохотали, снаряды не понеслись со своего берега и не стали рваться на подступах к ней.

В наступающих колоннах пронесся ропот: «Без арт-подготовки пустили! Перетопят же всех!» Но не перетопили. Не разбуженные артогнем, немцы проспали, деревня была освобождена после нескольких автоматных очередей и разрывов гранат. Выскочили проснувшиеся фрицы на улицу, увидели, какая сила идет на маленький гарнизон, и бежали. Береговые Морины были взяты без боя.

Валышево летом сорок первого года красноармейцы заняли тоже без боя, но тогда в ней и немцев не было. А тут враги несли службу — и сбежали. Не постреляли даже, никого не убили и не ранили, дали возможность расширять захваченный плацдарм. Цирк! Да еще какой!

Правее Береговых Морин на берегу озера стоят деревни Новая и Старая Ракома, Троица, еще какие-то небольшие. К ним не пошли, а двинулись сразу в тыл к Трем Отрокам, а потом на Запростье. Ни в той, ни в другой деревне не оказалось ни одного немца и ни одного жителя. Заглядывали в дома, думали, хоть какой-нибудь старик или старушка остались — пусто.

— Гражданские здесь до октября сорок третьего жили — в бинокль было видно, как сено и дрова возили, потом фрицы их угнали куда-то, а у себя в тылу стали деревни жечь. Как вечер наступит, так и зарево, зарево, — рассказывал пожилой солдат. — Я и в сорок первом здесь бывал. Тогда из Юрьева монастыря всех наших фрицы выгнали, а две девчонки там почему-то остались, почти каждый вечер забирались на колокольню и пели. Так они хорошо пели «Катюшу», что до сих пор помню. «Овчарки», поди, какие-нибудь, но мы по ним не стреляли, и нем-

цы разрешали им концерты давать.— Солдат обвел глазами пустую улицу и вздохнул: — А обидно все-таки!

— Что обидно?

— Что пустые деревни освобождаем. Не-инте-рес-но!

Уже давно рассвело, уже солнце поднялось, началась артиллерийская подготовка севернее Новгорода, а здесь фрицы все еще очухаться не могли. Силы у них тут оказались небольшие, только в прибрежных деревнях, и они отдали без боя десятки населенных пунктов. С обеда только вышибать с плацдарма начали, танки и артиллерию в ход пустили.

Полк за день несколько контратак отбил. Близко подходили, и Гришка был уверен, что пару немцев уложил наверняка да еще несколько человек ранил.

Ночевать думали в Запростье, уже костерки разожгли в полуподвалах, но пришел приказ идти в деревню Жевкун. Она километрах в десяти от берега. Чтобы взломать оборону противника и так далеко продвинуться вперед, иногда сутками бьются и крови в эти самые первые дни наступления больше всего льется, а тут почти без потерь обошлось. Если так дальше дело пойдет...

Через два дня батальоны по ручью вышли к шоссе Шимск — Новгород. Слева виднелась северная окраина деревни Воробейки. Впереди, за обширным полем, возвышалась насыпь железной дороги. Справа, на приграничье с кустами, торчала крепкая, сложенная из камней будка. Пулеметный огонь из деревни и будки преграждал путь к железной дороге.

Ротами, взводами, отделениями полк растекся вдоль шоссе. Нетронутая снежная целина через полчаса взбурилась холмиками брустверов индивидуальных ячеек, в разных направлениях ее перерезали свежие тропки.

Стреляли «фердинанды». Они стояли близко, поэтому снаряды не свистели и не подвывали, как бывает, когда стрельба идет издалека и они летят мимо, а рвались, едва ухо успевало уловить звук выстрела. Выстрел — разрыв.

Выстрел — разрыв. Выстрел и тут же разрыв. От таких не спасешься: не определишь, далеко они рванут или рядом, можно оставаться на ногах или надо падать.

Смеркалось, и «фердинанды» били без усердия. И пулеметы как бы только предупреждали: дальше не ходите — худо будет. Солдаты заняли оборону, окопались, и кто дремал, а кто и спал во всю ивановскую — третьи сутки кулаки к щекам не прикладывали. И почему не поспать, если на дворе теплынь, снег вот-вот таять начнет и к вечеру даже не похолодало. Запохрапывали со спокойной совестью и без большой заботы о завтрашнем дне: общей картины боев солдаты не знали и выходу к шоссе должного значения не придали. Вышли, и ладно, вот как завтра Воробейку брать?

А немцы всполошились не на шутку. После перехвата шоссе на Шимск у них оставался один путь для пополнения и отступления — через Лугу. Столь быстрого появления здесь русских они не ждали и решили утром выбить их и отогнать подальше.

«Фердинанды» начали обрабатывать насыпь, за которой сосредоточились выдвинувшиеся ночью на железную дорогу лыжники, часов в десять утра. В считанные минуты насыпь стала пегой от многочисленных воронок от мин. Перебивая друг друга, заработали десятки пулеметов.

Сначала в тыл отходили раненые, скоро, по пять-шесть человек, попятились здоровые, потом, Иванов зажмурился, увидев это, одетые в белые маскировочные костюмы лыжники поднялись, как по команде, и побежали назад. Им стреляли в спину наступающие, их косили снаряды, мины, но больше всего — крупнокалиберные пулеметы из деревни и из будки самым страшным для пехоты перекрестным огнем.

Вырвавшиеся из этого ада пересекали шоссе и неслись дальше. Несколько офицеров с пистолетами в руках пытались задержать и образумить бегущих, стреляли в воздух, но никого не остановили.

Немцы из-за насыпи не показывались. Наступило затишье. Иванов смотрел на поле и не верил своим глазам — за считанные минуты оно покрылось трупами почти так, как когда-то поле от Старорусского шоссе до Валышево.

Из-за насыпи волна за волной стали выкатываться цепи спешенных конников кавалерийского полка «Норд». Когда Гришка окинул их глазом, то понял, почему бежали лыжники, — их было раз в пять меньше. Гришкин 299-й полк был двухбатальонного состава и не весь выдвинут на дорогу. Полку бы в пору тоже нестись назад без оглядки, но солдаты видели паническое бегство лыжников, видели, к чему оно привело, и ни один не тронулся с места.

Нервно, из всех стволов открыли огонь. Пулеметные и автоматные очереди были длинны и отчаянны. Иванов тоже нажал на спусковой крючок, едва увидел первую цепь. Понимал, что на таком расстоянии автоматный огонь создает только шум, но не стрелять не мог. Потом спохватился, сцепил зубы и стал ждать, когда подойдут ближе. И другие автоматы перестали стрелять, реже захлопали винтовочные выстрелы. Огонь стал редким, но прицельным. Первая цепь не выдержала и залегла. Уткнулись в снег вторая, а за ней и третья цепи. Однако пролежали недолго. Понукаемые окриками и выстрелами офицерских пистолетов, немцы поднялись и побежали вперед. Снова показалось, что их не остановить, что вот-вот первая цепь пересечет шоссе, а другие начнут добивать оставшихся живыми, но в бой вступили минометчики, немцы скрылись за плотными разрывами мин. Стали слышны не ободряющие и подгоняющие крики, а стоны и вопли о помощи.

«Все! Остановим!» — перевел дыхание Иванов и тут же увидел, что фрицы снова бегут вперед. Судорожно нажал на спусковой крючок. Автомат дал короткую очередь и смолк. Нажал сильнее — не стреляет. Передернул затвор и ругнулся: «Балда! Весь диск расстрелял!» Вставил запасной и повел огонь короткими очередями.

Минометчики перенесли огонь ближе, поставили на пути наступающих новую огневую стену, однако фрицы прорвались и сквозь нее, подошли так близко, что можно было различить отдельные лица. Им оставалось сделать последний бросок, чтобы начать рукопашную, когда на поле разорвались первые пристрелочные снаряды дальнобойных орудий. Через минуту артиллеристы открыли беглый огонь, и поредевшие, перемешавшиеся между собой цепи гитлеровцев остановились, стали пятиться и побежали под прикрытие насыпи.

Какой-то офицер встал на их пути, что-то кричал, размахивал автоматом. Иванов дал по нему очередь, и офицер упал. Может, кто-то еще стрелял по нему, может, спасающиеся от артиллерийского огня фрицы подстрелили офицера сами, кто разберет в такой кутерьме. Не мешается больше, и ладно. Иванов был захвачен другим — автомат снова не стрелял, был пуст и второй диск.

Из-под шапки струился пот. Иванов снял ее, расстегнул шинель и стал заряжать диски. Пальцы подрагивали, патроны то и дело перекашивало. В Валышево он не раз видел, как фрицы организовывали атаки. Эта не походила на прежние, если бы не пушки, немцы смяли бы и роту, и батальон, и полк. Им надо выбить русских с шоссе, и они не успокоятся, вот-вот начнут все снова.

Руки заработали быстрее. Он зарядил первый диск, стал вставлять его в автомат и почувствовал на себе чей-то тяжелый взгляд. К ячейке шел немец! Громадный, в выкрашенной белой краской каске, в белых же брюках и куртке. Широкоскулое с большим мясистым носом лицо можно было принять за русское, но шел немец, и шел уверенно, ничем не выдавая страха. Позади вышагивал тщедушный, низенького роста старый солдат. Фрицевский автомат у него за спиной, на пленного направлен карабин. Как же такой заморыш с этим бугаем справился? Чтобы не обижать солдата, спросил:

— Где ты его прихватил?

— У моста,— односложно ответил герой, но останавливаться и давать какие-либо пояснения не стал.

Так близко Иванов не видел фашистов больше месяца, и было в его взгляде что-то такое, от чего пленный потупился, потом он обернулся, зыркнул по автомату и зашепшил, будто его подогнали. Невидимые нити связали их на мгновение и оборвались. И что-то произошло — Иванов почувствовал, как тревожно забилось сердце, ему показалось, что он где-то видел этого фрица, но не мог вспомнить, когда и где.

Позади раздался треск кустов — артиллеристы тащили сквозь них новенькую, на резиновом ходу, непривычно короткоствольную пушку. Ему крикнули:

— Меняй позицию, а то голову снарядом стукнет — синяк будет.

Прикинул — может и стукнуть. Пришлось новую ячейку копать. Еще не углубился как следует, со стороны Воробейки послышался надрывный рев мотора. Артиллеристы загнали снаряд в казенник, прильнули к пушке, слились с нею. Слева на шоссе показалась грузовая машина. Она неслась к городу на предельной скорости. По ней били из всех видов оружия, но остановить не могли. Пушки сбили машину в кювет со второго выстрела. Еще два тупорылых немецких грузовика пытались проскочить в город. На них затратили всего по одному снаряду! Видно, больших мастеров послали на помощь пехоте. Теперь если и «фердинанды» полезут, так не очень страшно будет.

И совсем хорошо стало, когда недалеко от пушки остановился танк. Прошел как-то через озеро, не провалился. Значит, и другие пройдут, думал Иванов, углубляя ячейку. Устелив ее дно для тепла и сухости ветками, покрутился в ячейке и пошел посмотреть танк. Один танкист сидел метрах в десяти от него в небольшом ровике. Прославленные с довоенных времен танкисты — «Броня крепка, и танки наши быстры...» — всегда казались Гришке

людьми необыкновенными, сильными, отважными, а тут... Что же это он в земле хоронится? Спросить об этом не решился, но такая несуразность вызвала удивление и у других, постарше и посмелее, солдат. Кто-то задал вопрос в лоб:

— Зачем ровик-то копали? Неуж в танке не надежнее?

Уже немолодой танкист вскипел, будто его оскорбили:

— «Надежнее! Надежнее!» Эту легковушку любой снаряд прошьет насквозь, а вас здесь «фердинанды» лупят. Нашли «надежу»! Мы на КВ работаем! Вот это танк! У него броня, а эта кастрюля... — танкист мастерским щелчком выбил из пачки папиросу точно в рот, прикурил от зажигалки и продолжал: — С механиком судьбу разыгрываем — час он будет в этом гробу сидеть, час — я.

Голову пехотинца каска прикрывает, на боку — лопатка. Вся и защита. У танкистов другие измерения, и он был прав: скоро прошел слух, что в такой же «легковушке» где-то в тылу погиб заместитель командира полка Моряхин. Поехал бы, куда надо, на лошади, жив остался, а его броня соблазнила. Рассказывали, что до войны Моряхин был председателем колхоза, службу начал младшим лейтенантом, за неполных три года вырос до подполковника и так нелепо погиб...

Готовя новую контратаку, фашисты начали сильный артобстрел. Иванов побежал в свою ячейку, упал в нее, тут же выглянул и увидел: метрах в двадцати от него в глубоком окопчике у станкового пулемета сидели двое. Один прикуривал, но никак не мог запалить фитилек кресала. Грохнул разрыв, а когда Иванов поднял голову, в небе вились ленточки шинели. Они опускались медленно, крутясь и извиваясь, будто были привязаны на невидимых ниточках, и кто-то все время поддергивал их, не давая опуститься.

«Как же осколки могли так разорвать шинели?» — удивился Иванов и сжался от совсем близкого разрыва.

2. ПЕРВОЕ РАНЕНИЕ

Война шла третий год, но пулеметов у фашистов было полно и ручных, и станковых, и крупнокалиберных. Эти убивали насмерть, руки и ноги отрывали. В первый день выхода на шоссе, вечером, на глазах Иванова командир соседней роты капитан Засухин поднял руку, показывая солдатам, где занимать позиции. Крупнокалиберщики дали по нему очередь, и полетел автомат вместе с оторванной едва не по плечо рукой в снег. Попади та пуля в голову, никакая бы каска не спасла капитана.

И минометов у фрицев хватало. Эти как начнут чистить, так головы не поднимешь — осколков от мин много разлетается и все по земле стелются. Хуже всяких снарядов эти чертовы мины.

А теперь, когда батальону приказали выбить противника из небольшого леска по пути к какой-то деревне, немцы словно осатанели: и снаряды рвались по всему полю, и мины будто чечетку отбивали, и пулеметы захлебывались в каких-то особенно остервенелых очередях. Много бы народу побила эта сатанинская сила, если бы встретила полнокровный батальон в начале наступления. Теперь цепочка атакующих была редкой, из-за наступившей темноты невидимой, чтобы не выдать малолюдые, приближалась к лесу молча и потерь неслала немного.

Трехдневные, почти непрерывные бои на шоссе научили Иванова многому, и он шел на сближение с противником, как бывалый солдат. При взлете осветительных ракет нырял в снег, дожидался их излета, вскакивал и снова торопился вперед. Когда пулеметный огонь прижимал к земле, тоже отлеживался или хоронился в воронке. Сам не стрелял, чтобы не тратить попусту патроны и не вызвать на себя ответный огонь.

Лесок был уже близко, он надеялся благополучно добежать до него, но что-то сильно ударило в правый бок, и Иванов, будто споткнувшись, рухнул в снег. Вы-

павший из рук автомат дал короткую очередь и смолк. Немцы ответили на нее огнем, но все пули пролетели мимо.

Протянул за оружием левую руку — не достал. Пополз и тотчас зажмурился от резкой боли, почувствовал, как кровь спускается по ноге и заполняет и без того мокрый, ни разу не просушенный с начала наступления валенок. До автомата добрался, поставил его на предохранитель и пополз обратно. Перед глазами зажигались и гасли, кружились в диком хороводе, а то и неслись навстречу, словно трассирующие пули, желтые светлячки. Полз медленно и неудобно, оберегая правый бок, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть и утишить боль.

Бой отдалялся, начинал глохнуть — значит, добрался батальон до леса, пошел дальше. Вспомнились обнадеживающие строчки: «Был я ранен, лежал без сознания, шел по-прежнему яростный бой. Медсестра, дорогая Анюта, подползла, прошептала: «Живой!» Тут же подумал: «У меня все не так: сознание не потерял, бой стихает, а сестры нет. Придется самому до санроты ползти, знать бы еще, где она».

После выхода к своим его поразило обилие песен, появившихся в стране, пока он был в оккупации. Их пели по вечерам и у костров и в землянках. До войны Гришка совсем не пел — стеснялся, считал, что это девчоночье дело, а в роте не удержался, стал подпевать и многие песни успел выучить наизусть, а если бы кто-нибудь полюбпытствовал, какая из них ему нравится больше всех, не ответил бы. Нравились все: и знаменитая, обошедшая все фронты «Землянка», и «Шумел сурово Брянский лес», и песня о втором стрелковом храбре в взводе, со слезами на глазах слушал рожденную в окопах песню о гибели молодого бойца: «Вы не вейтесь, чайки, над морем — вам негде бедняжечкам сесть. Слетайте в Сибирь, край далекий, снесите печальную весть: как в том, в том

лесу, в том лесочке наш полк окружен был врагом и там, в том лесу, в том лесочке, боец молодой помирал...» В окопах же, наверно, была первый раз спета песня о пулеметчике с Васильевского острова, с завода «Металлист», которого рано утром навестил полковник. Слова каждой из этих песен душа принимала легко, и так же легко они запоминались. Всех солдат роты, заметил Иванов, как-то особенно волновала песня о медсестре Анюте: «...И взвалила на девичьи плечи, и во фляге согрелась вода — эту встречу и тот зимний вечер не забыть ни за что никогда...»

Она и сейчас звучала в нем, помогала каким-то непостижимым образом карабкаться на левом боку. А правый горел, набухал, все чаще приходилось стискивать зубы и ждать, когда утихнет боль.

Бой позади почти смолк, слышалась обыкновенная ночная перестрелка. Иванов полз, все время поглядывая по сторонам, чтобы не пропустить мимо себя медсестру. Она не появлялась. Вместо нее вдруг возник перед ним вожатый упряжки собак, обрадовался, что нашел раненого совсем близко от санитарной роты, помог забраться на легкие санки и погнал упряжку назад. В санроте сделали укол, наложили повязку и тут же вместе с другими ранеными, уже погруженными на сани, отправили в медсанбат.

Операцию делали на рассвете следующего дня. Он спал и до нее, как только попал в медсанбат, уснул и после операции, проспал бы еще сутки, да разбудили:

— Эй, друг, на пожарника уже сдал. Может, пообедать, освободитель Новгорода?

Смысл сказанного дошел не сразу. Он еще позевал, протер глаза, потом приподнялся:

— Что, уже освободили?

— Еще вчера. Мы уже отпраздновали.

— А Старую Руссу?

— Эх куда хватил! Там еще и не начинали.

Как все перевернулось на белом свете! В сорок вто-

ром за два с лишним месяца Валышево не могли взять, а тут за какую-то неделю фрицев из Новгорода вымели.

В госпиталь Иванова не отправили. Осколок прошел по касательной, ничего не повредив внутри. Такое ранение считается лёгким.

— Радуйся — в медсанбате подлечим и попадешь в свой полк, — сказали Иванову.

Однако рана оказалась в таком месте, что ни сесть, ни встать, ни повернуться. Какое движение ни сделай — нестерпимая боль. Честно вылежав две недели, решил перебороть ее, встал и походил. Рана тут же открылась, пошла кровь. Получил нагоняй от хирурга и снова залег, прислушиваясь к возобновившейся боли. Она стала даже сильнее, порой казалось, что кто-то вцепился в края раны жесткими пальцами и рывками растягивает их в стороны. Пустяковое ранение, а лежи себе бревном, баюкай единственную ранку.

Январь простоял светлый и ко всему живому благостный. В палатке стойко держалось тепло, а днем, когда ее нагревало солнышко, становилось даже жарко. По вечерам горела настоящая лампа, завтрак, обед и ужин приносили исправно, перевязки делали. Хорошо лежать в медсанбате, покойно и беззаботно, как на курорте.

Руки и ноги занять было нечем, а вот языкам работы хватало. Стоило одному рассказать анекдот, как кто-нибудь подхватывал, и начиналось: один другого перебивает, один над другим посмеивается, вся палатка за животы держится. Немолодой уже, узкоплечий и сутулый сержант с остреньким носом и светлыми, хитрющими глазами сказки рассказывал. Как начнет, так на всю ночь. Голос у него негромкий, прокуренный, говорит, не повышая его, складно, будто вязь какую выводит. Спать бы под такое тихое журчание, а не заснешь, все время узнать хочется, что дальше будет. Спросил как-то Гришка, где он столько сказок узнал и как все помнит. Сказочник посмотрел на Иванова с интересом: «Так я из них шашлык

делаю». — «Какой шашлык?» — «Э, не пробовал еще? Вкуснятина, скажу тебе! А делают его так: на шампура — это металлические стержни — нанизывают кусочки мяса, лука и поджаривают на огоньке. И я так: одну сказку начну, потом к ней другую пристегну, третью. Понял?» — «Понять-то понял, но как?» — «Что как?» — «Как вы помните, что и в каком месте «пристегивать» надо?» — «Пристегиваю, что подходит. Сегодня одно, завтра — другое, ничего подходящего нет, так придумаю что-нибудь. Когда сказок знаешь много, это легко. А узнал я их столько от бабушки своей, как Пушкин от Арины Родионовны». Сказки сержанта всегда кончались хорошо, и это внушало надежду, что и в жизни добро может победить зло, восторжествовать над ним.

Как-то вечером разведчик, высокий и плотный парень, свою «сказку» рассказал. Получилось это у него случайно. Сначала пожаловался:

— Отъелся я тут, как ползать буду, не знаю, — показал, какой живот отrostил, смахнул со лба прядь черных жестких волос и продолжал: — В задницу бы ранение не получить — ни одна девка после этого мне улыбаться не будет. — Посокрушался, будто уже получил такое ранение, и вдруг спросил: — Хотите я вам одну историйку расскажу?

— Валяй, все равно делать нечего.

— «Валяй!» Да вы мне сто граммов должны за нее поставить, как пишут в газетах, я с вами опытом делиться буду. Так вот, значит, приказали нам «языка» взять. Как всегда, срочно! И не-мед-лен-но! Ну, выбрали подходящее местечко, понаблюдали за ним два дня, пошли. Все гладко у нас в ту ночь получалось, а я заметил: когда вначале все идет хорошо, под конец надо какую-нибудь каверзу ждать. Так и получилось. Метров сто до немецкого дзота осталось, «язычок» наш около него топчется, саперы последние мины снимают. Вот-вот мы его возьмем и целенького притащим домой.

Саперы проход сделали, обратно поползли. Мы — вперед и слышим, что вы думаете? Нет, не передергивание затвора, не команду, даже не немецкий говорок, а слова: «Рус, не ползи! Вижу!» Не совсем чисто по-русски, но разобрать можно. У меня волосы под шапкой дыбом. Смотрю на ребят — глазами моргают, будто только из воды вынырнули. Хорошо еще, что никто на спусковой крючок со страха не нажал. В разведке вот это, перед броском к траншее, время самое напряженное, нервы у всех струнками натянуты, и тут такое... А он снова: «Рус, не ползи! Вижу!» Не удивляйтесь, что улыбаюсь. Это теперь, а тогда показалось, что с меня, с живого, шкуру сдирают. Видит — и не стреляет! Почему? Почему-у? На какого-то сознательного арбайтера наткнулись? И что этот сознательный станет делать, когда назад двинемся? Тихонечко так, чтобы и соломинка не шелохнулась, развернулись, попозли. За полмесяца до этого фрицы нас так прижали, что мы Малый Волховец в два прыжка перескочили, но в свои окопы бодренькими вернулись, а в этот раз свалились и дышим, как выброшенные на берег рыбы, и слова дельного сказать не можем, — разведчик потряс головой и усмехнулся. — Начальство в гневе: «Не морочьте нам головы! Ветра испугались, от кустика убежали?» И дальше в том же духе. Начальство нас привечает, когда мы с фрицем возвращаемся, а если пустыми, то ой-ой!

Дня через три снова вперед гонят, в другом месте, конечно, — там-то мы наследили. И что вы себе думаете, как говорил покойный писарь КП полка? В самое напряженное время, под носом у немецкого дзота, снова ту же песню слышим, но на этот раз, когда фриц ее второй раз завел, мы уже обратно ползли. После этого начальство за нас по-настоящему взялось: и собрания с нами устраивали, и индивидуальную работу проводили, пытаюсь найти зачинщика и паникера, у которого такая фантазия разыгралась. А какая, к дьяволу, фантазия, если нас де-

вать человек было и глухих в разведку не берут. У начальства свои доводы: «Первый раз вы могли услышать «голос». Согласны, верим вам, но вчера-то вы в другое место ходили. Так? Так! И опять тот же «голос»? Интересно, как же фрицы могли узнать, когда вы пойдете, куда, чтобы именно туда и «доставить» того самого солдата?» А нам чем крыть? Мы сами ничего понять не можем. Если бы начальство вместо нас в разведку ходило и вернулось с пустыми руками и с такими бы вот разговорчиками, мы бы ему тоже не поверили. Точно! А все так и было, ни капельки не вру.

Разведчик потянулся за кисетом, свернул сигарку, закурил. Тут же и другие затянули, и в палатке стало дымно, хоть топор вешай. Глаза у всех задумчивые, вопрошающие — каждый разгадать секрет пытается, других опередить хочет, но где там.

— Давай дальше, не трави душу,— взмолился сказочник.

Рассказчик улыбнулся:

— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Потерпи, сержант, да подумай, пока я докурю.

— Ладно тебе, будто курить и рассказывать не можешь.

— Ага, заело?

— Еще как. Слушаем тебя.

— Ну, короче говоря, с недельку с нами поработали, дали в себя прийти (придешь тут!), новое место для поиска подобрали километрах в трех от последнего, чтобы тот фриц уж никак здесь не мог оказаться, сказали, чтобы мы о всяких там «голосах» забыли думать, и вперед.

Пошли. Подкрались. Поземка в тот вечер мела, ветер дул прямо в лица немецким часовым. Погодка для разведки лучше не надо, но опять, только приготовились к броску, слышим: «Рус, не ползи! Вижу!» Что прикажете делать? Назад с тем же приветом от фрица возвращаться — за сумасшедших сочтут или в штрафбат отпра-

вят. Вперед? Пока видит, но не стреляет, а двинемся, так нажмет на что надо или гранату швырнет. Лежим. Не дышим. Соображаем, вернее, пытаемся хоть что-нибудь понять. Через какое-то время, которое показалось нам вечностью, как на заезженной пластинке: «Рус, не ползи. Вижу!» И еще раз. Бубнит одно и то же. С ума сойти от этого можно. Но по-одному, со всеми предосторожностями, вперед двинулись, совсем близко к дзоту подобрались и видим: стоит наш «благодетель» спиной к нам, чтобы снег глаза не забивал и лицо не мерзло, топчется, руками машет, чтобы согреться, и трекает, что нас видит.

Тихонько мы его взяли, кляп в рот, самого в плащ-палатку и домой. На допросе рассказал, что эту штуку придумал тот фриц, к которому мы первый раз ходили. Утром немцы наши следы увидели, догадались, почему мы пятки смазали, и сообразительное немецкое начальство приказало всем солдатам выучить две русские фразы и с наступлением темноты тихонечко, будто предупреждая, проговаривать их. Вот так, братья-славяне, мотайте себе на ус, если услышите что-либо подобное, не торопитесь спину показывать,— заключил разведчик, подмигнув не сводившему с него глаз Иванову и сказал: — Ладно, лежите, а я схожу на луну посмотрю.— Он был ходячим и по вечерам иногда исчезал.

Разведчик ушел, а беседа продолжалась. Ротный санитар «захватил трибуну».

— Не пойму,— начал он,— почему раненый человек так меняется. Был, как говорят, стойкий и храбрый, а как стукнет такого, сразу расписывается. Выноси его первым и как можно дальше, это он не может, это не хочет, подай ему манную кашку на блюдечке и вложи в ручку маленькую ложечку. Научился я с такими обращаться. Как гаркну, сразу шелковым становится.

Раненые заворочались, чтобы возразить рассказчику, но он и сам замолчал, а через мгновение рассмеялся:

— Слушайте мой брех, слушайте, раскрывайте рты

пошире — когда меня шарахнуло, что думаете я сделал в первую очередь? Санитара закричал, и так заверещал, что чуть себя не оглушил.

Тут в разговор сразу несколько человек вступили, стали обсуждать, почему так получается, и еще долго спорили.

Вечерние разговоры часто и за полночь продолжались. О женах и детях рассказывали, о том, кто и кем до войны работал, сколько получал и как жил, где побывать пришлось и что посмотреть, но больше всего все-таки войну вспоминали, с самого первого ее дня и до дня минувшего. Слушая рассказчиков, Иванов и на Кавказе, и в Крыму, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Москве побывал, даже на Первомайской демонстрации, все фронты прошел, узнал, как долго держался Севастополь, пережил с ленинградцами первую блокадную зиму. Вечерние исповеди велись без спеха и негромко, часто прерывались вопросами, иногда возникали и споры, но без скандалов. Однажды только чуть до ссоры дело не дошло. Бойкий на язык, громкоголосый автоматчик начал рассказывать о своих подвигах, и выходило, что он столько немцев пострелял, что и на роту бы хватило. Радовать бы такой рассказ должен, но как-то так получилось, что всех коробило от, казалось бы, правильных и справедливых слов, однако слушали, пока из дальнего угла палатки не раздался трубный голос:

— Помолчал бы, тыловик! Слушать тебя тошно — «я, я, я...»

Автоматчик споткнулся:

— Это я тыловик?

— Ты, ты. С какого года на КП полка сидишь?

— С марта сорок второго... Ну и что?

— И первый раз ранен?

— Э, брат, надо уметь воевать...

— Само собой, но приходи к нам в роту, а я посмотрю, сколько ты в ней продержишься. Не обижайся, но

можешь и обижаться,— разные у нас с тобой колокольни. С твоей видать, кто на КП дивизии и выше отсиживается, а для нас КП роты, что в двухстах метрах позади, уже тыл. Там и из траншейки голову можно высунуть, на КП батальона разгуливай, головы не пригибая, а у вас кино крутят и концерты показывают...

— «Крутят, показывают»,— перебил автоматчик.— Думаешь, вечерами над нашими головами соловьи поют, да? Нет, пули, пу-ли! Вот какой у нас тыл!

— Да знаю, знаю даже, что в полковой клуб снаряд прилетал и около двадцати человек на тот свет и в госпиталя отправил. Ну и что из этого? Те пули, что мимо тебя пролетали, по роте были выпущены. Ты немцев и их дзоты при выходе на передовую, когда у нас какая-нибудь заварушка случается, видишь, а мне они глаза намозолили. Улавливаешь разницу?

С автоматчиком спорил высокий, не менее двух метров ростом, старый солдат. Он был худ и не казался богатырем, но все у него — и лицо, и руки, и голова — были большими, даже усы, густые и черные. Он хотел сказать еще что-то, но сосед тронул его за плечо:

— Дай мне,— и повернулся к автоматчику: — Чтоб слов не тратить по-пустому, давай поменяемся: ты айда вместо меня в роту, а я тебя на КП полка заменю.

— Ну уж дудки — нашел дурачка,— испугался, будто такой обмен зависел от них, автоматчик, и терпеливо выжидающая, чем кончится дело, палатка содрогнулась от смеха.

— Тогда лежи и помалкивай,— пророкотал усатый.

3. СНОВА НА ПСКОВЩИНЕ

Как только узнал Иванов, что осколок ему больших бед не наделал, так все надеялся, что скоро расстанется с медсанбатом и заявится с автоматом на груди в Телепнево,— вот удивится мать, увидев его в шинели, с пого-

нами на плечах, а сестренки, поди, его и не узнают. Но пустяковая рана, даже к удивлению врачей, заживала долго и трудно, и, пока Гришка лечился, ходил в выздоравливающих, догонял с маршевой ротой фронт, были освобождены и Шимский, и Старорусский, и — дальше на запад — Солецкий и Дновский районы, а дивизия оказалась аж за Порховом. Там он нашел свой полк и был направлен в свою, четвертую роту, от которой осталось меньше половины прежнего состава. Командир роты, высокий, щеголеватый капитан Малышкин, уцелел, Иванова узнал и обрадовался ему не меньше, чем Иванов капитану. Капитан сначала пожал ему руку, а потом неожиданно обнял и крепко прижал к себе:

— Рад видеть тебя здоровым. Хорошо поправился?

— Хорошо, товарищ капитан. Дошагал вот.

— И я дошагал, — улыбаясь каким-то своим мыслям, сказал Малышкин. — Будем и дальше гнать фашистов вместе?

— Так точно, товарищ капитан! — бодро заверил Иванов. — Разрешите идти?

Но капитан не торопился отпускать его:

— Ты что веселый такой? Уж не родных ли нашел? Их освободить должны.

Иванов потупился:

— Как же я их найду, товарищ капитан? Я же прямо из медсанбата.

— Письмо давно надо было написать.

— Вы думаете, можно?

— Почему же нет? В освобожденных районах почта сразу начинает работать. Сегодня же напиши. И вот еще что: к нам пополнение приходит. Много местных. Поспрашивай, может, что узнаешь.

Ничего вроде бы не произошло, всего-то навсего спросил командир роты у своего солдата, нашел ли он родных, а у того на глазах слезы заблестели — был-то при поступлении в роту всего один разговор о матери и се-

стренках. Оказывается, не забыл его капитан, интересуется, живы ли, переживает. И уж не так одиноко стало Иванову, ноги в пляс готовы пуститься. Ругнул себя — давно надо было письмо в Телепнево отправить, чего медлил?

Первая строчка легла быстро: «Здравствуйте, мама и сестреночки!» А дальше не пошло. Не приходилось Гришке письма писать — не было в этом нужды, — и в школе не научили, там только сочинения писали. Сидел, думал, и все равно одни вопросы получились. О себе догадался сообщить, что жив, здоров, воюет.

По совету Малышкина ни одного новенького не пропускал, каждого спрашивал, откуда призвали, но все порховские почему-то попадались. Через неделю, однако, стали прибывать парни из Дновского района, и, вот счастье, один оказался из соседней деревни Коковкино. Его мать, в этой партии многие почему-то с матерями прибыли, обещала сбегать в Телепнево и рассказать о нем. Завтра, пусть послезавтра, мать узнает его адрес, Настя тут же напишет письмо, оно придет дней через десять, и можно будет жить спокойно.

Прошло десять дней, прошло и двадцать. Весточки из дома не было. То ли случилось что с семьей, то ли та женщина не сдержала своего слова. Написал новое письмо. Оно тоже осталось без ответа. Почему? Погибла Настя? Нинка бы накарябала, мать попросила бы кого-нибудь. Неужели все убиты?

Фронт стоял. Наступление остановила весенняя распутица и загодя построенная фашистами оборонительная линия под грозным названием «Пантера». Какой она была на самом деле, Иванов не знал, но такого разлива воды и такой грязи, расползшейся по всей земле, сколько себя помнил, не видел — в распутицу люди обычно отсиживаются по домам и не знают, что творится в лесах и на дорогах. Солдатам же отсиживаться в землянках не давали. Днем учили строевым ходить по грязи, по команде

же в эту грязь падать, ползти, бежать, вскакивать и снова падать там, где застанет новая команда, а ночами заставляли таскать на передовую боеприпасы — не есть же солдатам даром хлеб, если дивизия стоит во втором эшелоне.

Машины вязли в глубоких колеях, сползали юзом в придорожные канавы и надолго застревали там. Лошади выбивались из сил на первых километрах вздувшихся дорог, а солдаты по обочинам тех же дорог, тропками, напрямик по лесу, порой и по болоту, как муравьи, сновали туда и обратно. Солдат выдержит все. Суворовские чудо-богатыри Альпы одолели, так что же роптать на родной земле, где ни гор, ни скал, ни пропастей. Тут, как говорят, сам бог велел. О боге, впрочем, не часто вспоминали, а если случалось, то, чтобы душу облегчить, когда падали со снарядами и лежали в обнимку с ним, из пушки не выстреленным и пока безопасным, клялись, что больше шага не сделают, но, отдохнув и продрогнув, поднимались и шли дальше.

Оборвались все, исхудали, водой пропитались так, что смотреть на нее было тошно, однако пришло время, и природа взяла свое: иссякли хляби небесные, появилось солнце, стало припекать спины, уничтожать грязь. Сначала она загустела, потом начала черстветь, в комья сбиваться, и скоро просохло так, что на дорогах за клубилась пыль. За дело принялись машины и кони, солдатам дали отдохнуть пару дней, и снова начались учения.

Однажды вечером, после возвращения с занятий, у землянки КП роты среди новобранцев Гришка разглядел высокую и тощую фигуру Лешки Ерохина. Вот кто все знает о семье и может рассказать! Нетерпеливые, готовые вынести из строя ноги сдержал, а с голосом не справился:

— Лешка! — крикнул громко. — Лешка, ты?

Лешка обернулся — это был действительно он, — но среди одинаково одетых солдат Ерохин не мог выделить друга и недоуменно оглядывался.

— Эт-то еще что такое? Кто кричал? — остановил взвод новый его командир Духовенко. — Повторяю, кто кричал?

Иванов не отозвался. Молчал и взвод. Лейтенанта не любили за излишнюю придирчивость и «ячество». Еще не воевали с ним, но раскусили и решили показать свой характер.

— Ну что ж, будете стоять, пока виновный не назовет себя. Смир-р-рна! — скомандовал лейтенант.

Взвод замер. Первая растерянность, не позволившая признаться, прошла, ничего плохого в своем поступке Иванов не видел, был уверен, что, если скажет лейтенанту, почему крикнул, скажет, что значит для него эта встреча, лейтенант поймет его и отпустит взвод отдыхать. Открыл было рот, чтобы признаться, но сосед толкнул в бок — молчи! Другие приказывали глазами то же.

— Не устали? Тогда постойте еще, — подал голос лейтенант.

— И вы — тоже, — скороговоркой выговорил кто-то.

— Что-о? — совсем разозлился Духовенко. — Кто позволил себе вступать со мной в пререкания? Будете стоять, пока из строя не выйдут двое. И не гудеть. Я из вас дурь выбью! Вы у меня шелковенькими станете. Стойте, стойте, а я посижу — мне спешить некуда.

Лейтенант присел на пенек, закурил и отвернулся. Фигура его выражала спокойствие и терпение, однако желваки ходили ходуном, сигарка подрагивала в руке. Взвод переминался с ноги на ногу и роптал. Взаимная ненависть росла, и неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, не выйди из землянки капитан Малышкин.

— Взвод, вольно. Разойдись! — скомандовал он, миглом оценив обстановку. — Лейтенанта Духовенко прошу зайти ко мне.

Разминая затекшие от длительного стояния ноги, солдаты радовались:

— Всыплет ротный нашему фельдфебелю!

— За дело. Пусть не издевается. Молодой, а ведет себя как царский золотопогонник.

Иванов бросился к Лешке. Не умея целоваться, они обнялись, сжали друг друга в объятиях.

— Что с моими, Леша? — шепотом, боясь услышать самое страшное, спросил Иванов.

— Они домой уехали, — сухо и равнодушно, как показалось Иванову, ответил Лешка.

— И все живы? Все, все? — не верил, с подозрением заглядывал другу в глаза Иванов.

— Целехоньки. Что ты на меня так смотришь?

— А письма ты мне от них не привез?

— Рехнулся? Кто мог знать, что мы встретимся.

— Фу, черт, и правда рехнулся. Так живы, да? А я уж думал... Письма пишу — не отвечают, мать одного нашего хотела им мой адрес сообщить — молчат. Решил, что хана им. Пойдем посидим где-нибудь, ты расскажешь, как они без меня жили, как вам спастись удалось, когда они уехали. Фашисты ведь перед отступлением и расстреливают, и с собой угоняют, и дома сжигают, чтобы нашим солдатам обогреться было негде.

Все оказалось очень просто: когда бои приблизились к Телепнево, все ушли в леса и вернулись после освобождения. Тут понятно, а вот как Лешка попал в его роту? В армию его должны, конечно, призвать, но мог Лешка оказаться и в другом полку, и в другой дивизии, и даже на другом фронте. Попал бы в первый батальон, и черт знает когда бы увиделись, а может быть, и совсем не встретились. Он позвал друга посидеть, а сам то и дело вскакивал, снова садился, удивлялся, как складно все получилось, радовался, что видит Лешку, что живы и невредимы мать и сестренки. Говорил громко, размахивал руками и не замечал, как завистливо смотрит Лешка на его автомат, на сумку с противогазом и с недоумением на него самого, бесконечно восклицавшего: «Правда?

Так и было? Надо же! Ну как хорошо! Как ты меня обрадовал! Может, я сплю? Ущипни меня, Лешка! Ущипни — не бойся».

— Не писали мои, как доехали? А отец не нашелся? От него письмо не приходило?

— Гри-ша, он-то как мог знать, что вас к нам выселяли?

— Да, да. Совсем сдурел. Ничего не соображаю. Ты просись в наш взвод, в третий. Лейтенант у нас зверь, но ребята хорошие.

Письмо в Валышево написал в тот же вечер. Все, что можно, не выдавая военной тайны, о себе сообщил, а вот как дать знать матери, где находится, сообразить не мог. Помог старый солдат:

— Тебя как звать-то?

— Гришкой... Григорием.

— Вот и напиши: «Недавно за Порховом встретил Гришку. Поговорили с ним, вас повспоминали и т. д.». Я себя и под Тихвином «встречал», и в Ленинграде, и недалеко от Новгорода. Цензура такие штучки пропускает, а родные всегда знают, где в случае чего мою могилу искать надо.

Упоминание о могиле Гришка мимо ушей пропустил — не представлял пока, что его могут убить, — а дельным советом воспользовался. Ответ не приходил долго. Написал еще одно письмо, покороче, третье хотел вдогонку посылать, как почтальон вручил первый ответ. Короткий, на одной страничке. Настя писала, что все остались живы, чего и ему желают. Его сруб немцы обложили дерном и сделали из него дзот, когда драпали, все осталось в целости. В нем и поселились. В дзоте тепло, крыша не протекает. «Лучше всех живем, — писала Настя. — Мальчика вот только не дали увезти, оставили в телепневском колхозе. Скучаем по нему страшно и по тебе тоже. Мамка говорит, чтобы ты себя берег и, когда стреляешь, голову сильно не высывал.»

Гришка зажмурил глаза и представил склоненную над листком бумажки Настю, мать, диктующую эти строки в полной уверенности, что она права, что можно стрелять, не высовывая голову. «Так, мама, достреляешься до того, что фриц тебе на голову сядет», — мысленно возразил он и стал читать дальше.

«От папы пока ничего нет, — сообщала Настя. — Не знаем, жив ли. Если получим письмо, сразу отпишу его адрес. Живем мы очень хорошо. Никто не стреляет, даже самолеты до нас не долетают. Пишу при настоящей керосиновой лампе! Вот! Скоро сеять начнем. МТС обещает трактор».

Дочитал до конца, перечитал раз, другой и словно бы оглох. Не лес видел и не землянки в нем, а свой сруб, переделанный фашистами в дзот, разбитую деревню свою, овраг, поле за ним. И так захотелось побывать дома, взглянуть хотя бы одним глазком, что зашло сердце.

Следующее письмо пришло вслед за первым. Прежде чем читать его, пробежал глазами по строчкам — нет ли чего об отце? Нашел! «Гриша, Гриша, — писала Настя, — папка наш жив! Он написал нам, как только освободили Старую Руссу, но мы еще в Телепнево жили. Тогда он в сельсовет письмо отправил, и нам его принесли. Мы, как увидели это письмо, так и заревели, весь день ревели, я только вечером села писать ответ. Долго думали, сообщать ли о смерти Томи и Миши, но написали — грех папку обманывать. Про тебя тоже написали и сообщили твой военный адрес. Он тебе напишет, и ты ему напиши. Мамка у нас совсем другой стала, даже улыбается и песни поет, нам от нее почти не достается. Это я уже сама без ее подсказки пишу».

Дальше читать не мог — слезу выбило, с кем-то надо было радостью поделиться. Побежал искать Ерохина.

— Лешка, Леш, у нас отец нашелся! Из дома его адрес прислали! — помахал над головой листочком серой бумаги и услышал голос взводного:

— Иванов! Ко мне! Так, говоришь, у тебя отец нашелся?

— Да, товарищ лейтенант, нашелся,— радостно ответил взводному.

— А где он у тебя «терялся»?

В голосе командира взвода Иванов уловил насмешку и вздернул голову:

— Он не терялся, товарищ лейтенант, он на фронт в июле сорок первого года ушел и до сих пор воюет.

— Ну и что? Сейчас все воюют.

— Мы не знали, жив ли он...

— Что же, он не писал вам? Хорош отец!

— Товарищ лейтенант, если вы не знаете... Мы в оккупации были, как он мог написать?

— А-а-а, так ты под немцем оставался, на фрицев работал? Чувствуется. Это,— лейтенант кивнул на Ерохина,— твой оккупационный друг Лешка, а тебя как зовут?

— Гришкой... Григорием,— поправился Иванов, но взводный будто не заметил этого.

— Вот все и прояснилось: из строя кричал Гришка, звал своего приятеля Лешку. Из-за этого его боевые друзья полчаса, если не больше, вынуждены были стоять по команде смирно,— лейтенант брезгливо скривился и выговорил: — За нетоварищеское поведение даю вам пять нарядов вне очереди, рядовой Иванов.

— Есть пять нарядов вне очереди. Разрешите идти?

— Идите. И запомните: в армии нет ни Гришек, ни Лешек. В армии есть Ивановы и Ерохины. Здесь вам не детский сад, не школа и даже не колхоз.

Испортил настроение взводный. Не нарядами,— подумаешь, наказание! Тем, что отца и его в нехорошем заподозрил, а он, дурак, вначале и лейтенанту о своей радости хотел рассказать. Ладно еще, что хоть этого не случилось. Не понял бы его взводный. Сытый голодного не разумеет, говаривала мать. Так и тут. Он, Гриш-

ка, чуть не с первого дня на войне, а лейтенант два года в школе спокойненько учился рядом со Ставкой Верховного, потом еще полгода в военном училище, на фронт, можно сказать, к шапошному разбору прибыл. Он, Гришка, в своей семье старший, а лейтенант младшенький, любимый. Папа у него железнодорожник, в армию не призван, мать и старшая сестра работают. Трое в семье трудились и карточки получали, лейтенант один иждивенцем был. Где им понять друг друга? Лешка вот сразу все оценил, вместе с ним над Настиным письмом поохал, если и позавидовал, то по-хорошему. Другие солдаты тоже порадовались, ротный писарь до того расчувствовался, что пару листиков бумаги дал, и сел Иванов строчить свое первое письмо отцу. Карандаш бегал по бумаге быстро, на одном дыхании исписал первый лист, дальше стал теснить слова и буквы, чтобы их побольше вместились. Лешка еще листочек раздобыл — все равно не хватило. И забыл Гришка и о лейтенанте, и о его нарядах, и обо всем на свете. И как не забыть, если он, пусть и на бумаге, после трехлетней разлуки с отцом разговаривал.

Дивизию подняли по тревоге ночью и повели к копии «пантеры», сооруженной в неглубоком тылу, и стали учить брать ее. Первые крупные учения были без боевых стрельб. Пехота делала вид, что наступает, минометчики и артиллеристы — что поддерживают ее, подавляют какие-то цели. Командиры рот и батарей готовили данные для стрельбы, подавали команды. Командиры минометных расчетов и орудий повторяли их, кричали: «Выстрел! Выстрел!» На всем предполье крик стоял.

День так проучились, второй, на третий роте выдали 50-миллиметровый миномет. Капитан Малышкин приказал освоить его Иванову и Ерохину. Стрелять из него они не умели, не знали даже, далеко ли из такого миномета улетают мины. Командир взвода тоже ничего путного объяснить не мог, и получилось так, что рота

ушла далеко вперед, а минометчики как заняли позицию близ невысоких кустиков на окраине ржаного поля, так оттуда и «стреляли».

Первым командующего фронтом генерала армии И. И. Масленникова и его многочисленную свиту заметил лейтенант, затравленно охнул, бросился в кустики и пропал. Иванову с Ерохиным тоже бы бежать куда подальше от высокого начальства, а они растерялись, да и вины за собой не чувствовали и приняли на себя весь гнев командующего:

— Вперед! В боевые порядки пехоты — там ваше место! — гремел генеральский голос. — На какую дистанцию стреляет ротный миномет? Не знаете? По своим стреляете! Своих бьете, та-та-та-та!

Вечером на разборе учений командующий еще раз прошелся по горе-минометчикам из четвертой роты, ослабил их на всю дивизию, впереди были учения с боевыми стрельбами, и капитан Малышкин приказал старшине отобрать миномет у провинившихся и возить пока на повозке, чтобы на самом деле кого не побили.

Здесь беду предусмотрели, однако слова генерала оказались все-таки вещими. Через неделю при штурме «Пантеры», когда и пехота, и минометы, и пушки вели настоящий огонь, одна из мин полкового 120-миллиметрового миномета не долетела до цели и ударила по третьему взводу четвертой роты.

Иванов в этот день отбывал внеочередной наряд и о случившемся узнал от взводного. Он вдруг появился в расположении роты с палкой в руке и с закушенными от боли губами.

— Что с вами, товарищ лейтенант? — бросился к нему Иванов.

— Ранен. Весь взвод выкосило.

— Весь взвод?! И Ерохина тоже?

— Не знаю... Там такое творится... Все лежат, а кровищи, — взводный опустил на землю и затряс головой,

будто хотел отогнать от себя только что увиденное.

Учения продолжались. Впереди захлебывались пулеметы, рвались снаряды и мины. Там все было по-настоящему, и уж совсем по-настоящему на КП роты стали приводить и приносить раненых. Последними привезли на лошади убитых.

Старшина чуть не сбил с ног застывшего у телеги Иванова:

— Один, что ли, остался? Оружие, оружие собирай в кучку. Смотри, чтобы ничего не пропало. Отвечаешь!

Приказ есть приказ. Его надо выполнять, и никому нет дела, что у тебя на душе и на сердце. В глазах туман, все двоится, а рядом лежит бездыханный Лешка Ерохин. Его матери напишут, что Лешка геройски погиб, защищая Родину, а он что напишет? И где найти силы на это письмо? Как объяснить матери Лешки, почему ее сын погиб, а он, Гришка Иванов, еще живой?

4. ЕСЛИ БЫ ПРОШЛИ МИМО...

Недалеко от стены Тригорского монастыря, неистово стреляя головешками, горел дом. И дальше что-то горело, часто рвались снаряды и мины, а когда монастыря достигла передовая часть, стали рваться фугасы.

Приготовившаяся к броску рота лежала на небольшом пригорке и вздрагивала вместе со взрывами. После одного особенно сильного, перекрывшего своим грохотом все звуки боя, в небо взлетела телега.

— Бачишь?— прорвался до Иванова голос Карпенко.— Шмякнется на нас, так мокроэнько будэ.

Гришка «бачил» и тоже боялся, как бы телега не упала на них, но, замерев на миг в высшей точке, она понеслась к земле как-то наискось, упала позади роты и рассыпалась на мелкие кусочки.

Высокий, с густыми черными бровями, горбатеньким носом и светло-кариими глазами, Карпенко прибыл во

взвод с первым пополнением после ЧП на учениях, сразу потянулся к единственному старожилу взвода, и ему первому Иванов рассказал о нелепой гибели Лешки Ерохина. С этого дня они держались вместе и особенно подружились после того, как Карпенко «побывал на том свете». Неожиданный артолет застал их в одной ячейке. Из-за ее малости сидели колени в колени. Рядом рванул снаряд. Оба пригнули головы, по спинам ударили комья земли. Открыв глаза, Иванов увидел бледнехонького, в гроб краше кладут, Карпенко, услышал его заикающийся голос: «Я еще живой, чи вже мэртвый?» Другая бы обстановка, можно и посмеяться над таким вопросом, но Карпенко спрашивал на полном серьезе, и он так же ответил: «Живой, раз спрашиваешь». — «А мини кажется, що я вже мэртвый. У голови одын гул стоит». Гришка взглянул на Карпенко внимательнее и сказал: «Сними каску и посмотри, какую вмятину тебе осколок сделал». Квадратный, с зазубренными краями осколок лежал у ног. Он потянулся, чтобы поднять и показать Карпенко, но отдернул руку — осколок был горячий. Юмор этой сценки дошел до них позднее, и они не раз спрашивали друг друга: «Я еще живой, чи вже мэртвый?» Глядя на них, и другие солдаты стали так шутить. Вырвавшиеся с перепугу слова Карпенко стали чуть ли не поговоркой.

В монастыре рванул новый фугас. Карпенко поднял глаза на небо, усмехнулся:

— Кончились у фрицев телеги.

Рота пошла, побежала к монастырю. Там продолжали рваться фугасы. Саперы вытаскивали ящики со взрывчаткой из могилы Пушкина. Постояли у нее, радуясь, что успели вовремя, не дали фашистам взорвать могилу поэта, удивляясь задуманному и едва не сотворенному варварству. Дальше пошли с надеждой в Михайловском побывать, пушкинскую усадьбу, если цела осталась, посмотреть, но пришлось шагать в другую сторону.

Пристанищем на ночь стал какой-то разрушенный кирпичный заводик, и только здесь, укрывшись за грудой битого кирпича, Гришка сумел, не торопясь, прочитать письмо отца, которое получил еще утром, когда лежал перед атакой у стен монастыря. За день доставал его не однажды, но пробежать до конца так и не сумел — то одно мешало, то другое.

«Помню наше расставанье, — писал отец, — как ты провожал меня, что я тебе говорил. С этим и до Парфино дошел. Оттуда нас в Рыбинск погнали, от него — к Москве. Здесь объявили, что мой год непризывной. Я аж крякнул — в Парфино надо было об этом думать, а то вон когда хватились. Вы уже под немцем были, мне и деваться некуда. Побежал по начальству проситься, чтобы в армии оставили. Первый бой под Москвой принял. От нее в декабре в наступление пошли, а теперь давно уж на юге воюю.

Повидать и пережить за это время пришлось многое. Всего не опишешь, а вот на реке Миус в такую бомбежку попал, что не пойму, как живой остался. От восхода до заката солнца он нас бомбил, всю землю вокруг несколько раз перевернул. Я лежал в воронке и молился вроде матери...»

Подошел Карпенко:

— Все читаешь?

— Да только присел.

— Що батька пишэ?

— Жив, здоров, ни разу не ранен, понимаешь?

Карпенко кивнул головой и вздохнул:

— А мий у сорок першому роци сгинул. Знал бы ты, який у меня батька гарный был.

Помолчали. Карпенко хотел уйти, чтобы не мешать. Гришка удержал его:

— Хочешь послушать?

Прочитали письмо вместе. Опять недолго помолчали, потом Карпенко начал рассказывать о своем отце, о том, как жили до войны. Иванов не перебивал. Раньше он укра-

инский говор и песни слышал лишь по радио, а в армии украинцев было много, и он с удовольствием слушал их разговоры, сам стал употреблять кое-какие украинские словечки и обороты, даже некоторые песни выучил. И как не выучишь, если украинцы их и под пулями и под снарядами петь готовы. Всегда найдется запевала, за ним вступят вторые голоса, там, глядишь, и подголоски подтянут. Так и в этот вечер получилось. Стоило старшине Фесенко начать «Галю», как песня окрепла и понеслась над притихшей на ночь землей:

Эй, ты Галю, Галя молодая, едем, Галя, з нами,
З нами — казаками.
Эй, ты Галю...

Дальше еще крепче рванули и не услышали выстрелов пушек, воя приближающихся снарядов. Спугнули певцов только разрывы и голос командира роты:

— Фесенко, Науменко, Карпенко, опять начали? А ты, Иванов, тоже в хохлы записался? Прекратить немедленно!

А чего прекращать? И так все прекратилось — испортил немец песню. Дождались последних разрывов и стали спать укладываться.

Утром в роту привезли никем не виданные индивидуальные понтоны. Сказали, что на них надо форсировать реку Великую. Старички от такого известия носы повесили, а молодые развеселились. Им что — у них ни кола ни двора и детишек нема. Сами еще несмышленные. День обещал быть жарким, им поплавать захотелось. Быстро расхватили понтоны, стали их надувать.

— На таком и Днипр переплыть можно! — восторгался Карпенко.

— Да ну? Редкая птица долетит до середины Днепра, где уж переплыть его? — подначил Иванов.

— Хволынку прибавил Гоголь, но широк наш Днипр! Великая против него — ручеек маненький! Слухай, на понтоне и плыть и стрелять можно! Гарна штука!

— Переплывешь, если фриц в нем дырку не сделает.

— Вин швидче мини дирку зробэ — понтон у води будэ,— отшутился Карпенко.

— Устами хлопчика истина мовит,— хмуро изрек прислушивавшийся к этому разговору старшина Фесенко.

Эти слова были услышаны, и молодые примолкли. Если вчера немец из-за песни столько снарядов положил, то сегодня уж скупиться не станет, и пулеметами у него река наверняка надежно прикрыта. Придется ли сушить одежду, один бог знает.

Так бы все и получилось, если бы начальство не догадалось провести разведку боем. Поднялся один взвод, побежал к реке. Немцы встретили его огнем и — что такое? Пушки еще молчат, а на берегу взрыв — и на глазах сотен людей исчезает человек. Бежал и исчез. Совсем. Один воздух на том месте.

— Граната противотанковая, должно, на поясе была, в нее пуля попала,— высказал предположение старшина.

Согласились — такое не часто, но случается. Пулеметные очереди перебивали друг друга, поднимались первые фонтаны от разрывов мин и снарядов. По неслышимой на этом берегу команде они вдруг прекратились, а потом Иванову показалось, что река вздыбилась, выгнула спину, поднялась в воздух. Это продолжалось недолго, может быть, минуту-другую, а когда наступила тишина и река успокоилась, течение уносило вдаль на понтонах несколько трупов. Под остальными понтоны были пробиты, и вода поглотила их.

Вражеский берег замолчал, и стало слышно, как тяжело дышит Карпенко. Его плечи и руки мелко вздрагивали, и думал он, наверное, о том же, о чем Иванов: вот-вот раздастся команда, надо будет вставать, бежать к реке и немцы сделают с ними то же, что сделали с посланным в разведку взводом.

В ожидании этой команды полк пролежал на берегу

часа два, потом роты получили приказ отойти и сдать понтон. Он был выполнен с великим удовольствием.

Ночью дивизию отвели в тыл и развернули фронтом на юг.

Проклиная немцев, войну и нещадно палящее солнце, рота тащилась по дороге и почти прошла стоящую в полукилометре от нее деревню, как из нее ударил пулемет. Пришлось залечь.

Капитан Малышкин поднес бинокль к глазам и стал думать: небольшой заслон хочет задержать роту или кто посерьезнее окопался? Если заслон, то пусть его выбивает тот, кто позади, а если немцев много, то придется задержаться. Почти пропустили и вдруг обстреляли. Зама-нивают, что ли?

Пока раздумывал и разглядывал деревню, пути подхода к ней и отхода немцев, пулемет замолчал. Плюнуть на него и идти, куда приказано? Нет, надо прощупать. Нехотя скомандовал:

— Первый взвод, вперед!

Первый взвод тоже нехотя поднялся и тут же лег под прицельным огнем уже трех пулеметов. Может, и еще есть, но в запасе держат?

Капитан Малышкин чертыхнулся: первый батальон прошел и по нему не стреляли. Выходит, позже появились, возможно, сосредоточиваются, чтобы перерезать дорогу? Надо вышибать, а поле ровненькое, без воронок, кустики только перед самой деревней. Овраг там, ручей, река? Развернул карту — овраг.

— Рота, короткими перебежками, по-одному, вперед!

Команда ясная, как дважды два четыре. В последние дни столько раз ее приходилось выполнять, чуть не перед каждой деревней. Расползлись по канаве по-дальше друг от друга, каждый наметил себе путь, и пошли на сближение. Дело привычное, надоевшее и негероическое. Вздывают пули близко пыль — лежи и не

шевелись. Перенес пулеметчик огонь в другое место — вскакивай и несись. Стала очередь снова приближаться, падай, быстрее отползай в сторону и затаись до лучших времен.

Все шло ладно. Как ни ярились немецкие МГ, никого подбить не могли. Один пулемет даже поперхнулся и умолк. Долгонько так его не слышно было. Еще немного, и предпоследний бросок к деревне можно делать. Сделали и оказались на краю оврага.

Деревня какая-то круглая, разбросанная. Большинство домов из кирпича сложены, немцы за их стенами прячутся, а тут лежи себе, фиговыми кустиками прикрывшись. Положение хуже губернаторского, как любил говорить Малышкин: и вперед не сунешься, и отходить не дело. Роту вроде и на самом деле заманили, положили в самой близости от пулеметов, и оказалась она как бы в ловушке. Так думал капитан, чувствуя, что не найдет силы послать солдат под губительный огонь трех пулеметов, и хваля себя за то, что отправил донесение комбату, сообщил о своей задержке и можно надеяться на помощь. Но когда?

Солдаты свое положение тоже правильно оценивали и вгрызались в землю старательно, словно намеревались оставаться на краю оврага до ночи. Так и думали, а получилось по-другому.

Сквозь автоматную трескотню и пулеметные очереди стали прорываться суматошные женские голоса, плач детей, какие-то стуки, будто кто начал строительство и забивал гвозди. Вслед за этим наступила недолгая тишина, потом, почти одновременно, вспыхнули два дома, и сразу донеслись такие душераздирающие крики, что солдатам стало не по себе. Неужели согноли в дома и подожгли? Да нет, наверно, просто угоняют. Дома могли случайно загореться. Так утешали себя солдаты, не сводя глаз с деревни. И вдруг оттуда, совершенно отчетливо:

— По-мо-ги-те-е! Что же вы, за-щит-нич-ки-и!

Подать команду Малышкин не успел. Словно рык грозного зверя пронесся по оврагу. Рота выплеснулась из еще не оконченных ячеек, молча — не расцепить стиснутые в ярости зубы — скатилась в овраг, через мгновение показалась на другой его стороне и устремилась к домам. Страшный, все сокрушающий на своем пути бросок ради спасения людей обогнал двух факельщиков с ранцами за плечами и зажженными горелками в руках.

С треском крушились доски, которыми были забиты окна и двери горящих домов. С криками, слезами, не веря в избавление от смерти, выпрыгивали, вываливались, выползали из домов обреченные на мучительную смерть старики, женщины, дети.

Факельщики жались к стене дома, словно пытались вдавиться в нее и исчезнуть. Иванов увидел это краешком глаза и, не раздумывая, еще не зная, что он готов сделать, повернул к ним.

— Стой! — раздался над ухом властный голос. — Прими пулемет.

Поднял глаза — перед ним стоял Малышкин. У крыльца, сжимая руками грудь, лежал раненый пулеметчик и хрипел:

— Диски заряди — все расстрелял. И бей их, гадов!

— Перевязать вас?

— Без тебя перевяжут. Диски заряжай, говорю!

Факельщиков плотной стеной окружили вызволенные из огня люди. Солдаты еле сдерживали их.

— Попался, душегуб проклятый! Я тебе говорила, я тебе говорила, что отольются наши слезы!

— Убивцы! Убивцы! — кричала какая-то старуха.

— Товарищ капитан, с поджигателями-то что делать? Расстрелять их к чертовой матери, чтобы не возиться, — завидев Малышкина, закричал сержант.

— Расстрелять? — взвился над толпой пронзительный женский голос. — В огонь их вместо нас. В огонь!

— В огонь!

— В огонь! — дружно прокричали женщины.

Растрепанная, с выбившимися из-под платка седыми волосами старуха заступила Малышкину дорогу, начала ему что-то говорить, не выпуская рукав капитана из своих рук. Еще несколько женщин плотно обступили командира роты, а люди тем временем привели приговор в исполнение.

Дикий крик факельщиков раздался над округой и стих. Шумело пламя, трещали горящие бревна, лопались стекла. Два взрыва прогремели в доме. Наверно, взорвались огнеметные ранцы или гранаты в карманах поджигателей. Засвистевшие над головами пули напомнили о сбежавших фашистах — они добрались до ближайшего леса и открыли огонь по деревне.

Иванов добежал до крайнего дома, залег у угла. Дал наугад очередь. По дому тут же застучали пули: тюк, тюк, тюк. Рядом упал старшина:

— Откуда бьют?

— Да и сам не пойму. Только стрельнул, сразу засекли.

— Дай-ка еще очередь, я понаблюдаю.

Он начал очередь слева. Не торопясь, повел по ближним кустам — где, как не здесь, прятаться фашистским пулеметчикам.

— Подожди! — схватил за плечо старшина. — Что это?

— Где?

— Да слушай же. Слушай!

Сквозь шум вновь начавшегося боя Иванов уловил не то стон, не то вой. Или плач? Когда сестренки хотят зареветь, но боятся это сделать, вот так же словно бы давятся.

Непонятные звуки доносились из горящего дома, мимо которого они пробежали, не думая, что в нем могли быть люди. Бросились назад. Подвернувшись под руки колом старшина сбил доски у одного окна, распахнул

ставни и едва успел отскочить от выбитой изнутри рамы. Из окна вырвался дым и многоголосый отчаянный крик. Кашляя, задыхаясь, через подоконник вываливались наружу подталкиваемые матерями ребятишки. На мгновение возник затор — несколько женщин застряли в узком проеме, — но одну из них кто-то рванул назад, и стали они выпрыгивать, не мешая друг другу, черные, растрепанные, полуобезумевшие, и все шептали, кричали, выдыхали всего лишь одно слово:

— Родненькие!

— Родненькие!

— Родненькие!

Немецкий пулеметчик без устали бил по дому. Женщины сразу падали и расползались кто куда. Укрылись от его огня и старшина с Ивановым. Пожар набирал силу.

— Вот черт — и сюда долетает! — старшина пнул пучок горевшей соломы и вздрогнул — тяжело ухнув, подняв в небо тысячи искр, в доме обрушился потолок. Огонь на время поутих, потом с новой силой взметнулся вверх. Гул пламени, треск горящего дерева глушили звуки боя. И голос старшины был едва слышен:

— Слышал, що загоняют у хаты, клуни и сжигают, но не верил, а зараз, зараз... я их так битимо буду, я их руками, зубами! — старшина свертывал сигарку, руки его дрожали, и почему-то сильно дергалась левая бровь.

Он успел затянуться всего три-четыре раза, и донеслась команда:

— Вперед, орлы, вперед! — кричал командир роты.

Старшина выругался, сунул сигарку в рот и пошел, не пригибаясь и не кланяясь пулям. Подражая ему, не клонил головы и Иванов. Так и шли, пока их не обложил, как следует, Малышкин:

— Вам что, жить надоело, ухари-купцы мне нашлись, так и этак!

5. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

С начала летнего наступления дивизия долго проби- валась на юг, однако после освобождения Опочки ее повернули на северо-запад. Как летом сорок первого, всюду бушевали пожары. Тогда поджигали больше сами, теперь — фашисты. Поджигали и подрывали. В послед- нее время еще одну каверзу придумали — стали отрав- лять в колодцах воду.

Районный центр Красногородское, что километрах в тридцати от Опочки, рота проходила рано утром. Крас- ногородское горело. Над его крышами взвивались в небо и свежие языки пламени, и уже серые дымы затухающих пожаров. Где-то на другой окраине рвались боеприпасы, а на этой, при входе в город, горел немецкий танк, и на его броне догорал не успевший спрыгнуть на землю и погасить пламя вражеский танкист.

После Красногородского, почти не встречая сопротив- ления, вышли на границу с Латвийской ССР. На пригра- ничной станции Пундуры задержались три дня. Сначала к ней подошел эшелон со свежей немецкой частью, потом бронепоезд. Пока бились с ними, от роты совсем ничего не осталось, и Малышкин назначил рядового Иванова командиром отделения, в котором еще числились Кар- пенко и Шестой. Шестой — прозвище. Фамилию этого солдата-парнишки Иванов слышал один раз при пере- кличке вновь прибывших и тут же забыл, как это сделали и другие. Получилось тогда так: командир роты приказал с трудом выровненному строю новеньких рассчитаться по порядку, и парнишка, когда дошла до него очередь, громко, будто кругом были глухие, выкрикнул: «Шештой из Пирожка». С этого часа, сократив для удобства на- звание деревни, из которой он был призван, его стали звать Шестым. Новичок не обижался. Он ни на что не обижался, этот послушный, улыбчивый и добрый, но собранный будто на шарнирах парнишка. Голова у него

как-то странно подергивалась, руки болтались вразнобой, ноги выписывали такие кренделя, что обхохотаться можно. Месяц, если не больше, служил Шестой, а солдата из него не получалось. Когда после учений близ «пантеры» устроили парад частей, его, чтобы не сбил с шагу роту, пришлось оставить «дома». В другое время в армию Шестого не взяли бы, ну, а в войну какой спрос? Стрелять и бегать может, русский язык понимает, и ладно.

Оглядев вновь сформированное отделение, капитан Малышкин неудовлетворенно хмыкнул и усилил его пулеметчиком Науменко с «дегтярем». Выслушав приказ, высокий, на голову выше Иванова, Науменко тоже хмыкнул, но возражать не посмел. Еще бы пару солдат надо добавить новому отделенному, да взять негде.

В это, еще не разгоревшееся как следует утро отделение Иванова шло в головном дозоре. Впереди — сам командир, за ним — Карпенко, Шестой и пулеметчик Науменко. Шли по дороге. Вернее, по ее кювету. Они в Латвии глубокие, человека почти наполовину скрывают, в случае чего и окопом послужить могут. После затянувшегося ночного марша ноги гудели, глаза слипались, но на ходу не засыпали — надо и вперед и по сторонам смотреть, чтобы фрицам в лапы не угодить.

Когда впереди замаячили трубы какого-то хутора, за спиной послышался топот, тяжелое дыхание. Вскинули автоматы и тут же опустили:

— Прижмись, пехота, пропусти глаза и уши полка! — тихо прорычал знакомый Иванову старшина-разведчик в наброшенной на плечи пятнистой плащ-накидке.

Пропустили, завистливо покосились на легкие ППС разведчиков, на их яловые, не стоптанные сапоги — идут, будто на утреннюю зарядку после хорошего сна отправились, и по сторонам не оглядываются.

Солнце чуть поднялось над землей, стало нагревать затылки. Из-за спин разведчиков показались дома и

постройки хутора с высокими черепичными крышами. Из трубы самого большого и ближнего дома черными клубами валил дым, видно, печь только что затопили, а справа — Иванов протер глаза: не бланится ли? — блестили на солнце ряды колючей проволоки. Склады какие-нибудь? Или лагерь? Неужто и в Латвии они есть? Иванов чуть поднял руку, предупреждая своих об опасности. Увидев на дороге пулемет и немцев у него, снял автомат с предохранителя.

Прошли еще несколько метров, и вражеские пулеметчики забеспокоились. Один вскочил, чтобы лучше рассмотреть приближающихся, другой напряженно выглядывал из-за пулемета, прикрывая глаза от солнца ладонью. Не будь впереди разведчиков, Иванов тут же открыл бы огонь, чтобы опередить немцев, чтобы не поло-снули они из пулемета по прямому, как стрела, кювету, а разведчики даже шага не прибавили. Фрицев, видно, сбивала с толку пятнистая плащ-палатка старшины и безбоязненность идущих. Видят же пулемет на дороге, но не боятся, не убегают от него и не стреляют, идут, будто к себе домой, во всяком случае — к своим. Метров трид-цать между ними и пулеметом. Идут! Двадцать! Пят-надцать! Идут и не спешат...

Много раз слышанная резкая и короткая команда прозвучала прерывисто и с повизгиванием:

— Фой-фой-е-р-р! — завопил стоявший на ногах.

Раздельная очередь ППС оборвала его крик, бросила тело на пулемет. Еще одна сразила второго.

Разведчики выскочили из кювета и побежали к дому. Старшина прыгнул на крыльцо, хотел открыть дверь, но она распахнулась от пинка изнутри, на крыльцо вы-скочил офицер с пистолетом в руке. Старшина схватил его за руку, перебросил через себя и так ударил о землю, что офицер не шевельнулся. На очереди из окон развед-чики ответили гранатами и бросились к другим домам, из которых выбегали полуодетые охранники и открывали

ошалелую стрельбу. Двое вели пулеметный огонь от ворот лагеря. Меткая очередь Науменко достигла цели, и пулемет смолк. И бой стих, как только в него вступили пулеметы подоспевшей роты, да и был ли он, так, короткая перестрелка.

И сразу стал слышен многоголосый крик узников лагеря. Они выскакивали из бараков, неслись к воротам, и их неистовое, отчаянное «а-а-а» поглотило все звуки.

Три ряда колючей проволоки окружали выстроенные по линеечке длинные лагерные бараки. Трое ворот сторожили заключенных. Все на замках. За воротами несущийся к ним орущий клубок человеческих тел. Он растет, ширится, в него вливаются узники из самых дальних бараков. Неужели бросятся на колючку и повалят ворота? Нет, остановились, а крик еще громче, еще нетерпеливее. Солдаты сбили замок первых ворот, возятся со вторым, но людям не терпится вырваться на свободу, и они, не дожидаясь, пока распахнутся все ворота, растекаются вдоль первого забора, обдирая в кровь руки и ноги, лезут вверх, спрыгивают, бегут к следующему ряду, снова карабкаются через колючий забор.

До третьего добираются самые настойчивые — кто-то обессилел и свалился, кто-то увидел, что открылись вторые ворота, и бросился к ним, девчонка же, за которой с самого начала следил Иванов, спрыгнула с последней колючки, подбежала к нему, ухватила за шею и стала целовать горячими, шершавыми губами в лоб, глаза, в щеки, потом прильнула к его неумелым и не готовым к поцелуям губам до того крепко, что у него застучало в висках, а тело обнесло ни разу не испытанным жаром. Так, видел он, целуют мужей после долгой разлуки истосковавшиеся жены, а она-то что на него набросилась? Хотел отстранить ее, расцепить жаркие руки, но не сделал этого — краешком глаза видел, что и другие лагерники, преодолев проволоку или выбежав через ворота, кидались к солдатам, тоже обнимали, целовали, а то и просто

трясли их, чтобы убедиться, что не сон видят, что перед ними настоящие советские солдаты.

— Что вы все словно с ума посходили? — спросил девчонку.

Она недоуменно, будто он сам рехнулся, посмотрела на него, схватила за руку и потащила за собой. Привела к свежей яме, подтолкнула к ее краю:

— Смотри!

Он заглянул в яму и отшатнулся — она была наполовину завалена трупами. Они лежали один на другом, у кого нога торчит, у кого рука. Все в гражданской одежде. Старики, женщины, дети. И дети! Спросил девчонку:

— Когда?

— Вечером. Из пулеметов, — она судорожно всхлинула. — Была ликвидация. Остальных должны были сегодня.

Он обвел глазами всю яму и прямо перед собой, внизу, увидел распростертого на других трупах мальчишку, до боли напомнившего умершего брата. Светлые, как у Мишки, глаза мальчонки раскрыты и безбоязненно смотрят в прохладное утреннее небо.

— Человек по пятьдесят выводили и расстреливали. Выводили и расстреливали. Кого заберут в следующую очередь, никто не знал. Думали, что прикончат всех, а они почему-то отложили. Женщины с детьми враз сидели, — слышал Иванов голос девчонки, и он болезненным эхом отдавался в голове.

— Подожди! Не говори! — схватил ее за руку. — Не надо!

Девчонка замолчала. Она была тонкой и высокой. Короткое серое платье едва прикрывало коленки. Она стояла, безвольно опустив руки, и увядала на глазах. Старела, как показалось ему. После всплеска у нее наступила апатия, а в нем все кипело от боли и ненависти. За три года войны он видел много убитых, видел даже казненных на крючьях, но чтобы столько за один вечер!

Круто повернувшись, пошел прочь от ямы, решив, что больше фашистов брать в плен не будет.

Хутор был полон лагерников. После страшной, без сна, в ожидании неминуемой смерти ночи людям не верилось, что беда миновала, они освобождены, живы и останутся жить. Им надо было выговориться, разрядиться, и они плакали, кричали, смеялись. У них впереди была целая жизнь, и они не торопились расходиться. Солдат на хуторе уже не было. Иванов спросил, куда они двинулись, и побежал догонять. Малышкин встретил недовольно:

— Где тебя черти носят? Шестой уже на месте, а командира отделения нет. Мне его замещать приходится, так что марш в строй и за Шестым следи — он сегодня совсем чокнутый.

Проселочной дорогой прошли около часа. Остановились, вернее, попадали, кто где стоял. Малышкина вызвали к комбату. Вернулся скоро, развернул роту в цепь, чтобы прочесать лес и уничтожить каких-то недобитков.

Леса в Латвии погуще новгородских, попадают и такие, в которых днем хоть с огнем ходи. Этот, сначала светлый и низкорослый, скоро стал тянуться вверх и густиться. Вошли в него без тревоги — в лесу не в поле, за каждым деревом укрыться можно и недобитков, думали, немного, из охраны, поди, которым удалось убежать. Постреляют, чтобы придержать движение, и снова удерут. Однако вскоре у противника минометы появились и накрыли роту таким огнем, что еле спаслись от него броском вперед. Вырвались и тут же снова попали под обстрел, на этот раз на поляне. Лучше бы от него в лес спрятаться, но Малышкин чуть не впереди всех оказался, за ним побежали.

Помня приказ командира роты, Иванов все время держался недалеко от Шестого, когда надо, подгонял его. Не отставал Шестой, а втянулись снова в лес, спотыкаться вдруг начал, слезы пустил и, невиданное на фронте дело, закричал во весь голос:

— Ма-ма-а! Ма-ма-а! Ма-ма-а-а!

Можно подумать, что она была недалеко, и он молил ее о помощи и защите.

— Замолчи, чего ты? — крикнул Иванов, но Шестой, продолжая бежать и стрелять, все звал и звал мать.

Новые разрывы мин накрыли роту. Убежали от них, стали перекликаться. Шестой не отзывался. Чуть передохнув, Иванов пополз назад. Шестой лежал на боку, поджав к животу ноги. Рот раскрыт в последнем крике. Лицо, руки, гимнастерка черны от копоти. В каком-то метре от него свежая воронка.

Иванов присел рядом, пораженный и смертью Шестого, и его необычным поведением перед ней. Каких-то два часа назад улыбался человек, на хуторе сбил выскочившего на него из-за угла охранника, гранату в сарай, из которого начали стрелять, кинул, и вот...

Жаркий летний день только созревал, а Иванову казалось, что он на исходе, и перед глазами были не только Шестой, но и наполненная трупами яма, и та девочка, которая привела к ней. Он сидел, потряхивал головой, чтобы избавиться от этого наваждения. Не проходило. Поднимался как старик. Сначала встал на корточки, потом на ноги. Нагнулся, засунул в карман документы Шестого, забросил за спину его автомат. Еще раз посмотрел на убитого и пошел.

Они встретились глазами на том месте, от которого он пополз разыскивать Шестого. Старый, с дряблыми щеками немец — и он. Их разделяло не более пяти метров. От неожиданности оба замерли, в то же мгновение дернули вверх автоматы и нажали на спусковые крючки. На какую-то долю секунды он опередил врага. Ноги фашиста подогнулись, он схватился за живот и ткнулся лицом в землю. И Гришка упал — если появился один, то могут объявиться и другие. Закрутил головой, ожидая нападения, но никого не увидел. По выстрелам своих определил, что рота залегла. Стал окапываться.

Грунт был песчаный. Саперная лопатка легко входила в него. Копал зло, переживая и смерть Шестого, и неожиданную встречу с немецким автоматчиком. Копал, не сводя с него глаз,— вдруг очухается. Еще не углубился наполовину, как лопатка замерла,— запоздало подумал, что вместо немца мог валяться здесь он, Гришка Иванов. Комар вот так же бы впился ему в щеку, а он и не чувствовал бы его укуса.

Это был не первый убитый им немец, но те, прошлые, все находились от него далеко, самые ближние метрах в ста. Вот так, глаза в глаза, первый раз, но никакого раскаяния, никакого угрызения совести, ничего подобного он не испытывал. Может быть, потому, что свеж в памяти лагерь и жалко Шестого? А может, потому, что привык к смертям, очерствела душа за три с лишним года войны и нет в ней жалости к тем, кто принес столько горя...

— Где Шестой?— спросил, опускаясь рядом, Малышкин.

— Убит, товарищ капитан. Миной. Чуть не прямое попадание.

Командир роты, о чем-то думая, прищурил глаза, потом кивнул вперед:

— А этот твой?

— Чуть лбами не столкнулись.

— Вижу. Посмотри, нет ли у него чего пожевать? И документы прихвати.

— Есть, товарищ капитан.

Произнес по привычке бодро, а обыскивать, что-то брать у убитого не хотелось. Чтобы не переворачивать мертвеца, обрезал ремни и, не прикасаясь к труп, вытянул ранец. В нем нашлись галеты и колбаса. Прежде чем лезть в карманы за документами, помедлил и еще бы не решился, если бы не подогнал Малышкин.

Потянулся за фрицевским автоматом и получил новый приказ:

— Флягу отстегни. Есть в ней что?

— Да, булькает.

— Забери.

Солдатскую книжку и письма фрица Малышкин, не глядя, засунул в полевую сумку, отвернул пробку фляжки, понюхал.

— Что-то спиртное. Будешь?

— Я не пью, товарищ капитан.

— А я выпью. Не думал, небось, фриц, что на тебя напорется,— усмехнулся командир роты.— Не отравил вино, как травят они воду.

Уже несколько дней пробавлялись на сухарях, и те кончились, но капитан отломил лишь маленький кусочек колбасы, равнодушно сжевал его и поспешил на временный КП роты, куда связисты должны протянуть линию связи. Автоматы Шестого и фрица прихватил с собой.

— Поступят новенькие — сразу вооружим по-настоящему.

Машинально жуя и глотая колбасу, Иванов чуть было не расправился с ней, да вспомнил о Карпенко и поспешил спрятать оставшееся в свой вещмешок.

6. ХУТОРА, ХУТОРА...

Метрах в семистах от опушки на небольшой возвышенности чернел хутор с большим домом и многочисленными хозяйственными постройками. Между ним и лесом — траншея. Свежая, даже бруствера не замаскированы. И пустая! На хуторе тоже никакого движения. Низкое вечернее солнце бьет в глаза, мешает получше рассмотреть местность, но капитан Малышкин уверен, что противника впереди нет, и озадачен этим. Зачем же траншею копали? Одни копали, другие занять должны, да опоздали? Еще раз оглядев хутор и шоссе за ним, командир роты махнул рукой.

Солдаты тоже успели все рассмотреть и прикинуть, поэтому побежали к хутору дружно, подгонять никого не пришлось, но дальше траншеи продвинуться не удалось — по шоссе примчались грузовые машины, из них повыскакивали фрицы и открыли такой огонь, что пришлось в траншею прыгать. Не будь ее, так они, пожалуй, и до леса бы отогнали.

— Спасибо фрицам, побеспокоились о нас, — шутили солдаты, умащиваясь на ночь в траншее, однако поспать в ней не пришлось. Ночью фрицы вдруг в атаку пошли. Да как! Разбились на тройки, один ракеты непрерывно пускает, двое огонь ведут, и все орут что-то, орут, пьяные, видать. И много их. Чтобы показать это, и иллюминацию, наверно, устроили.

Малышкин прикинул возможности роты и дал команду отходить по одному. Солдаты внесли свою поправку: сыпанули под защиту деревьев дружно и неслись в лес без передышки. На опушке стали останавливаться: рано или поздно хутор придется брать, стоит ли далеко бегать? Фашисты дальше траншеи тоже не пошли. У них свое на уме: поставленную задачу выполнили, а лезть ночью в лес разумно ли? На этом обе стороны успокоились, а утром пришел новый и жестокий приказ: немедленно взять хутор и перерезать дорогу на город Балвы!

Малышкин собрал в кружок остатки роты и предупредил:

— Заляжете — погибнем! Поняли? Пока фрицы будут глаза протирать, мы должны им на шею свалиться. Ясно? Пять минут на подготовку к броску.

Пока «беседовали», пушка откуда-то появилась, стала выковыривать фрицев из траншеи. Свои пулеметы огонь открыли. Под их перестук рота выскочила из леса и понеслась. Иванов так поддал, что впереди всех оказался, и уже половину пути преодолел, когда заметил, что бежит прямо на немецкий МГ, около которого копошатся двое. Смекнул, что пулемет неисправен, и еще поддал —

оживет, так первая очередь ему достанется и патронов фрицы не пожалеют. «Надвое перережут, если исправят», — пронеслось в голове.

Тягучий страх охватил его. Изо всей силы нажал на спусковой крючок, закричал:

— Хенде! Хенде хох!

Пулеметчики не то что рук, головы не подняли. Снова дал очередь, закричал еще громче, мешая немецкий с русским:

— Хенде хох, сволочи!

Результат — тот же. В голове застучали молоточки: «Остановись, идиот! Хорошо прицелься и будешь жить! Остановись же, ну!»

Надо, надо было остановиться. С такого расстояния достаточно одной очереди, но страх сделал тело непослушным, ноги продолжали нести к неминуемой гибели.

Уже совсем ничего осталось до пулеметчиков, уже все бегут из траншеи, а эти... Еще одна очередь по ним. Снова мимо. Но близко. Один поднял голову, оглянулся, вскочил на бруствер и свалился обратно. Второй оттолкнул мертвого от себя и снова прилип к пулемету.

Гришка вдавил ноги в землю и с остервенением нажал на спусковой крючок. Немецкого фельдфебеля отбросило к заднему брустверу. Иванов прыгнул в траншею, опять нажал на спусковой крючок и не отпускал до тех пор, пока не кончились патроны.

Фашисты вели огонь из хутора. Полоснуть по ним из их же пулемета? Перекинул МГ на другую сторону траншеи. Нет, не стреляет. Сменил диск в автомате, зачем-то схватил пулемет за пламегаситель и с ним побежал вперед. Приклад волочился по земле, нерасстрелянная пулеметная лента путалась под ногами, мешала бежать. Он не замечал этого.

— На кой ляд ты его тащишь? Брось! — крикнул Карпенко.

И в самом деле, зачем? Разжал пальцы. Бежать стало

легче. Только что пережитый страх еще не прошел и мешал появиться новому. Бежал легко, не думая об опасности, однако влившийся в шум боя голос крупнокалиберного услышал. Поднял голову. В черепичной крыше единственного дома чернела дыра. Оттуда бил пулемет. По инерции пробежал еще несколько метров и упал. Оглянулся — рота лежала. И ему лежать? Но перебьет же всех крупнокалиберная сволочь!

Не спешить бы, отдышаться, унять дрожь в руках и коленях, но где там. Не поднимая глаз, чтобы не почувствовал его взгляда пулеметчик, пополз к дому, но терпения хватило ненадолго — вскочил, последние метры пробежал и оказался в мертвой зоне. С чердака его уже не достать. Огляделся, нет ли где других фрицев, которые подбить могут, и, не таясь, побежал к дому. Встал напротив дыры, вырвал чеку, забросил гранату на крышу и упал, запоздало соображая, что промашка может стоить жизни. Так и случилось — граната скатилась вниз и разорвалась на земле. Его спасла куча свеженаколотых дров и аккуратно, штабельком, уложенный кирпич.

От близкого разрыва зазвенело в ушах, что-то ударило по левому плечу. Чертыхнулся, вскочил и швырнул на крышу вторую гранату. Снова упал, съежился в ожидании нового взрыва, но он раздался на чердаке. Крупнокалиберный умолк. Рота поднялась и захватила хутор.

К Иванову подбежал сияющий Карпенко:

— Грицко, що я знаю! Капитан казав, що к Славе тебя представит!

— За что? — поперхнулся Иванов.

— Как за что? За пулемет на чердаке. Лякался, коли гранату кидал?

— Некогда было. Я после пулеметчиков чокнутый был и ничего не боялся.

— Каких еще пулеметчиков?

— В траншее.

— Этих я не видел. А вот на чердаке... Ну, лякался?

— Нет. Я же сказал тебе.

— Тю! Так не бывает.

— Может, и не бывает, откуда я знаю. Ты когда-нибудь полдиска в убитого всаживал? Нет. А я зачем это сделал? На кой ляд, как ты говоришь, пулемет потащил?

— Ну, заговорил! Що кажешь, не знаешь, зачем гранату кидал? Туточки у тебя гарно получилось — зараз у дирку попал. А промазал бы, тогда що?

Настала очередь Иванову удивляться:

— Так я в твою «дирку» второй гранатой угодил...

— Ха,— думая, что друг шутит, рассмеялся Карпенко,— а першая, значит, у небо улетела и там взорвалась?

— Першая скатилась по черепице и у меня под носом рванула.

— Угу, така славна лимонка, що нос тобі целый оставила и як вона рванула никто не бачил. Не брешешь, друже, як сивый мэрин?

— Две я бросал. Первая...

— Тогда кажи, як ты целехонек передо мной сидишь?— все еще не верил Карпенко.

— Ну и дотошный же ты!— рассердился Иванов.— Первая скатилась вниз и разорвалась на земле, но я за кучей дров лежал, потому и сижу с тобой.

— Так бы зараз и казав, а то «рядом», «пид носом». А второй раз кидал, не лякался? Если бы вторая скатилась, тогда що?

Иванов рассмеялся:

— Сбегал бы к тебе — за третьей.

И Карпенко открыл было рот, да поблизости разорвался снаряд. За ним другой.

— Недолет. Перелет. Трошки поправочку внесут — следующий наш будет,— еще не веря в это, протянул Карпенко — и как в воду смотрел.

Следующий рванул около дома, и началось: виу —

разрыв, виу — разрыв. Думая, что в хуторе немцы, по нему открыла огонь своя противотанковая батарея. Всех словно ветром сдуло в кюветы. Нещадно матерясь, Малышкин всаживал в голубое небо одну зеленую ракету за другой, Карпенко привязал к палке полотенце и размахивал им, но помогло не это. Выручили фашистские автобусы, спешившие прорваться в Балвы. Пушкари перенесли огонь на них и, пока «сбрасывали» автобусы в кюветы, разобрались, что хутор занят своими.

Тишина наступила, да такая, что пение птиц стало слышно, трепыхание их в листве деревьев. Прибежал связной от командира батальона с приказом выдвинуться на шоссе, оседлать и не пропускать машины в Балвы. Нехотя поднялись, пошли, стали окапываться. Надолго ли? Друзья переглянулись и решили, что зарываться как следует не стоит, — впереди еще какой-нибудь хутор есть, его тоже брать придется. Выкопали неглубокие ямки и уселись перекусить. Солнце поднялось высоко и палило нещадно. Остро пахло травами.

— Какую бы речку форсировать, на понтонах, — мечтательно протянул Карпенко.

— Лучше бы дождичка, но небольшого, — не согласился Иванов.

— Такого, под которым ты за клевером ходил? — подыграл Карпенко, и оба рассмеялись, вспомнив недавнюю историю.

Во время летнего наступления стояла небывалая жара, а в тот день тучи начали копиться на небе с утра, и вечером пошел мелкий, занудливый, совсем осенний дождь. В темноте остановились перед какой-то деревней. Гришка вырыл ячейку, накрылся плащ-палаткой и начал задремывать, как явился непрошенный гость — командир приданного роте пулеметного взвода. Пришлось потесниться и расширить ячейку. Забрались в нее, но не заснули — сыро, холодно, стенки окопчика осклизли. «Сходи принеси клевера и поспим, как на перине», — попросил

лейтенант. Клевер сушился впереди на вешалах, Иванов и сам подумывал о нем. Если бы они были позади, давно бы запасся, но вешала на нейтральной полосе. Это и сдерживало, но просьба командира, пусть и чужого, — приказ. Поднялся, вылез из окопчика. «Автомат оставь, чтобы не мешался», — посоветовал лейтенант. Тоже правильно. Пошел налегке. Стал дергать клевер. Он еще не намок как следует, шуршит. Как бы фрицы не услышали. А это еще что за звуки? Прислушался и окаменел: немецкие голоса. Упал. К нему идут. Не меньше отделения, а он, дурак, автомат оставил. Вгорячах рванул чеку, размахнулся, но гранату не бросил — пусть поближе подойдут. Пока подходили, сообразил, что положение у него липовое. Взорвется граната — огонь откроют и свои и немцы, он как на раскаленной сковородочке окажется. От этого соображения в жар бросило, а немцы подошли к вешалам и тоже стали дергать клевер, только с другой стороны. Гр-гр-гр, ля-ля-ля. Не торопятся. У него сердце на всю округу бухает, пальцы, как у бабки Мотаихи, когда она противотанковую мину к себе тащила, сводить начинает.

Надергали. Пошли назад. А ему что с гранатой делать? В карман ее обратно не засунешь, взрывать надо. И такая злость на немцев, которые всегда появляются, когда их не ждешь, вскипела в сердце, что вскочил, изо всей силы размахнулся и швырнул эфку через вешала. Сам бегом обратно. Упал. Тут же взрыв, крики. Не зная, что его черт занес к клеверу, рота ошетибилась всеми стволами. Фрицы ответили, и все пули, свои и чужие, над ним, над ним, около него, сплошной свист в ушах. С этого дня, шутили в роте, Иванов даже в уборную без автомата не заглядывает, придется в баньке помыться, так с автоматом на полку залезет и автоматом же себе спинку тереть станет.

— Будимо вперед так ходить, скоро закончим ее, треклятую, — прервал эти воспоминания Карпенко. — На юге вже у Румынии воюем. Гарно бы успеть к новому

року, а? И знаешь що, Грицко, отслужимось и поидимо до меня у гости. Село у нас богатое, стоит на Днипри, недалеко от Киева. Живем дюже гарно. Поидимо, да?

— Гарно до войны жили, а теперь?

— Тю, ще краше заживем, ось побачишь. Поедешь?

— Ладно, а потом ко мне.

— Добре. Ты колысь украинский бирщ ел? Як бы ты знал, яки моя маты бирщи и вареники робэ. Ешь, ешь и витстати не можешь.

— А ты пельмени когда-нибудь пробовал?

— Пельмени? А що цэ такэ?

— Делаются почти как вареники, но с мясом и круглые.

— Ни.

— Попробуешь, так о своих варениках забудешь.

— Ни,— тряхнул головой Карпенко,— о варениках не забудешь! Давай вздремнем чуток, и хай тоби пельмени приснятся, а мне вареники со сметаной и вишневым вареньем.

Вздремнуть и тем более увидеть во сне пельмени или вареники не удалось. Откуда-то появился комсорг батальона. Увидев их, обрадовался:

— Оба живы? В пятой роте семерым хотел билеты вручить, но пятерых уже нет. Поздравляю вас, что здоровехоньки и с приемом в члены ВЛКСМ,— крепко пожал обоим руки, угостил Карпенко настоящей папирсой и заторопился:— До свиданья, орлы! Мне в первый батальон надо.

Подошел командир роты, позавидовал:

— Уже получили? Как все быстро теперь делается! С меня десять потов сошло, пока на все вопросы ответил. Ночь перед заседанием бюро райкома комсомола не спал, в приемной часа два дожидался, пока вызовут. Ну всем свое. Рад за вас!

Все получилось просто и буднично, но настроение поднялось. Поразглядывали новенькие, пахнущие дерма-

тином комсомольские билеты, спрятали их в карманы гимнастеров и, как именинники, пошли брать очередной хутор.

Бежали рядом. И падали вместе.

— Давай до той сосны,— предложил Карпенко,— тамочки отлежимся.

— Давай, кто вперед.

— Ха, не лезь поперед батьки у пекло.

Оба поднажали, чтобы не уступить первенства, неслись грудь в грудь. Черный султан поднятой взрывом пересохшей земли встал перед глазами. Иванов по инерции ворвался в его темень, вынырнул из нее, пробежал последние метры и упал у комля дерева. Оглянулся. Карпенко лежал на том месте, где застал взрыв. На животе, головой вперед. Неужели подбили? Тогда и его должны зацепить. Ощупал ноги, живот. Вроде бы все цело, оглушило только и глаза землей засыпало. Может, контузило Карпенко? Окликнул друга. Не отвечает. Не обращая внимания на разрывы мин и свист пуль, побежал обратно. Карпенко лежал с неестественно подвернутой левой ногой, вытянутыми вперед руками и повернутой набок головой.

Рота врывалась в хутор. Оттуда доносились разрывы гранат. Он позвал Карпенко, тронул за плечо — не отзывается. Осторожно, боясь причинить боль, перевернул на спину и ахнул — вся грудь, ноги иссечены осколками, будто кто швырнул их целую пригоршню. Послушал сердце, пульс — мертв! Если бы не неслись так быстро, жив бы был Карпенко!

На другое утро рота снова подходила к очередному хутору. После станции Пундуры ничего толкового не брали, одни хутора. И в лоб на них ходили, и обхваты устраивали, бывало, и стороной обходили, оставляли тем, кто позади идет. Надоели эти хутора до чертиков. И фрицы, что их защищали, и их «траншейная» тактика.

На этот хутор солдаты поглядывали с удивлением: уж больно вольготно вели себя фрицы. В битком набитой траншее как на курорте расположились: кто вшей бьет, кто загорает и никакой тебе бдительности.

Готовя атаку, Малышкин приказал Науменко выдвинуться на левый фланг и установить пулемет в просеке. Старый уж человек Науменко, за тридцать перевалило, две дочки растут, а змей боится, что дитя малое. Крикнет кто-нибудь: «Науменко, змея!» — драпанет так, что не догонишь.

На просеке трава вымахала в пояс. Стал ее Науменко сбивать, чтобы от змей уберечься и обзор расширить, и так увлекся, что, вроде немцев, бдительность потерял. А те заметили шевеление травы, стрельнули на всякий случай. Не удержался смертельно раненный пулеметчик, крикнул. Фрицы решили, что русская разведка перед ними, раненого можно в плен забрать. Кинулись к просеке кто в чем был.

— Подпустить ближе! Не стрелять! — тихо подал команду Малышкин.

Метров пятьдесят не успели добежать, тогда Малышкин дал первую очередь. Охотников срезали в мгновение ока. После этого фашисты и в траншее долго не задержались. Убежали кто в чем, иные и нательные рубашки не успели натянуть. К удивлению Малышкина, фрицы и хутор проскочили на рысях, дальше еще быстрее побежали. «Не демонстрируют ли паническое бегство, чтобы подвести роту под перекрестный огонь?» — забеспокоился капитан и придержал солдат, но немцы драпали не напрасно — слева густыми цепями наступала какая-то свежая, на диво многолюдная часть.

7. МИНА НАД ГОЛОВОЙ

Малышкин опустил бинокль и начал постукивать кулаком по кулаку. Он всегда делал так при раздражении

и досаде. Досадовать же, понимал Иванов, командир роты было на что: фашисты укрепились на возвышенности, роте надо было сближаться с ними по низине. Обойти бы их и ударить с фланга, но там другие наступать должны, и хорошо, если поднимутся на взгорье вовремя. Скорее всего, соседи «припозднятся», и тогда неизвестно, сколько человек останется от только что пополненной роты. Чтобы сохранить людей, капитан чуть-чуть сманеврировал, послал их не прямо, а левее, по высохшему, заросшему камышом и осокой болоту. Это должно сократить потери, но намного ли?

За дни отдыха и формирования Малышкин отоспался. Светло-карие глаза его не портила воспаленная краснота, лицо было чисто выбрито, из-под воротника гимнастерки выглядывал белоснежный воротничок. Хорошо начищенные сапоги смотрелись почти новенькими. О них и о воротничке позаботился Иванов — с пополнением в роту прибыли сержанты и даже старшие сержанты, от бывшего отделения остался один он, и Малышкин взял его к себе ординарцем.

Рота шла по болоту, и по шевелению камышей было видно, что два взвода идут не параллельно, а расходятся в стороны.

— Потеряли ориентиры, черти, — постучал капитан правым кулаком по левому и приказал: — Беги соедини их, и пусть не теряют друг друга из виду.

— Есть, товарищ капитан!

Чтобы быстрее выполнить приказ, Иванов пошел не к болоту, а, спрямляя угол, двинулся сначала ржаным, потом картофельным полем. Пули засвистели над головой — бил пулемет — еще во ржи, а на картошке привязался снайпер. Рядом глубокая борозда, в ней можно с головой укрыться, но едва шевельнулся, почувствовал ветерок от пролетевшей мимо пули, за спиной раздался хлопок. «Засек, гад! Разрывными бьет!» — заныло в сердце. Втиснулся в борозду так, что каска надвинулась

на глаза, нос уткнулся в землю и замер. Если бы возвращался к капитану после выполнения приказа, лежал бы долго, а теперь нельзя — не соединятся взводы, весь бой нарушится.

Чуть приподнялся, подтянул одну ногу и опять носом в землю от свиста близкой пули. «Следит! И следить будет, пока не убьет! Что делать-то?» Скосил глаза на болото. Одна перебежка до него. Вскочить и — в камыши, пусть там поищет. Гришка сам из снайперки не стрелял, но в руках держать приходилось. Знал, что ее прицел как подзорная труба, и там, на горе, снайпер только того и ждет, когда он приподнимется и побежит. Нельзя вскакивать, нельзя бежать, нельзя даже шевелиться. Надо ждать, когда у снайпера устанут глаза, когда он отвлечется.

На вытянутой руке автоматом шевельнул ботву. Не стрельнул! Еще раз сделал то же движение. Опять нет выстрела. Поверил, что прикончил, или ловит? Лучше еще повременить чуть-чуть, совсем немного — береженого бог бережет. Надо! Надо!

Обостренным опасностью слухом уловил редкие одиночные выстрелы, однако свиста пуль не слышал. Дождался следующих. Куда-то стреляет, но не по нему. Пополз. Осторожно, боясь шевельнуть верхушки ботвы. Всего ничего и прополз с несколькими остановками, а нырнул в осоку и стал ловить воздух широко раскрытым и пересохшим ртом.

Отдышался и вперед. Командира взвода нашел быстро. Передал приказ. Обратно пошел болотом. Скрытый от вражеских глаз высокой травой, шел вольно, радовался еще одному везению: по всем статьям выходило лежать ему мертвым или раненым, а он и приказ выполнил, и сам целехонек. И вообще молодец: от Острова почти до Балв дошел. Еще радовался и хвалил себя, а мина, выпущенная из немецкого миномета, уже достигла своей высшей точки, перевернулась и понеслась вниз. Она падала отвесно, почти на него, и он не слышал ни ее воя,

ни даже тихого шуршания. Разорвалась, свалила наземь.

Очнулся сразу. В ушах знакомый звон. Кровь заливает ботинок. Стянул его и ахнул, не узнав искалеченной двумя осколками стопы. Кое-как перевязал раны и пополз в тыл.

На выходе из болота наткнулся на раненых. Кто-то стащил их сюда в кружок, потом сам попал под осколок или пулю. Увидев его, обрадовались:

— Ползи на КП, скажи, чтоб санитаров быстрее послали. Шевелись давай, на тебя вся надежда.

Дополз, о выполнении приказа доложил и просьбу раненых передал. С ними же на одной из подвод и дальше покатыл. Отвоевался! В медсанбате задерживать не стали, перевязочку сделали и в госпиталь, в город Остров, откуда дивизия летнее наступление начинала.

В Острове же, где-то через месяц после ранения, на костылях уже не просто ходил, а по лестнице вверх и вниз через несколько ступенек прыгал, на ровном месте с одногодками в догонялки играл, его окликнули:

— Иванов? Ты?

Оглянулся — капитан Малышкин на него глаза щурит, сам в госпитальном халате, но без костылей, и руки целые. Шагнул навстречу, прижал к себе:

— Вот уж не думал тебя больше увидеть! Ногу, вижу, не ампутировали — это уже хорошо, — и выдал новость: — А немцы, знаешь, из Балв без боя драпанули. Держали нас, держали, столько людей побили — и преподнесли на блюдечке с каемочкой. Заминировали, правда, крепко. Старшина Фесенко ногу потерял. В общем, из старых никого в роте не осталось — я последний был. Ты-то как? Поправляешься?

— Прыгаю вот, — взмахнул Иванов костылями.

— Вижу, а почему у тебя на груди сияния нет? Посмотри — у каждого на халате не орден, так медаль. Ты почему не носишь?

— Так у меня нет ничего...

— Как это нет?— удивился Малышкин.— «За отвагу» разве не успел получить?

— Не-е-ет,— до корней волос покраснел Иванов, не ожидавший, что его могут представить к такой большой награде.

Малышкин хлопнул себя по лбу:

— Фу, черт, совсем забыл: приказ пришел через несколько дней после твоего ранения, но я тебя еще к Славе третьей степени представлял, за тех пулеметчиков... Идем ко мне, сделаем запрос, и пусть награды тебе в госпиталь высылают — ты еще долго здесь проваляешься.

Малышкин был рад неожиданной встрече с солдатом, об Иванове и говорить нечего. И награды, о которых не мечтал, грели душу, и дружеское отношение капитана, который уже не командиром роты виделся, а своим, близким человеком, каким были раньше дед Никифор и колхозный бригадир Матвей Иванович. Целый день провели вместе, разные, и горькие и смешные, случаи из ротной жизни вспоминали, погибших, особенно в последних боях, и, как недавно с Карпенко, даже о послевоенной жизни помечтали. По своим палатам разошлись после отбоя, а встретиться больше не пришлось: ночью Иванова и других раненых подняли и спешно, даже проститься с Малышкиным времени не нашлось, отправили в Псков, через некоторое время — в Порхов. А зачем возили туда и обратно, понять не мог. Видимо, были и на это какие-то соображения, а может, просто из-за бестолковщины.

К этому времени он уже с палочкой ходил и совершил один поступок, а вот добрый или совсем ненужный, решить не мог ни когда затевал, ни после окончания. Раздобыл одежду, военную, но без погон, чтобы на патруль не нарваться. В ней все вернувшиеся из госпиталей ходили да и те, кто в армии не бывал. Прикинул, что вполне может сойти за подростка: «Дяденька, какой я раненый? Я с крыши упал и ногу сломал».

До деревни, в которой жил Шестой, добрался без помех, если не считать, что она оказалась гораздо дальше от города, чем ему говорили, и нога вдруг начала гореть и пухнуть. Первой попавшейся в Пирожках женщине обрисовал портрет Шестого, и она сразу направила в нужный дом. Мать убитого оказалась во дворе. Увидев Гришку, охнула, схватилась за сердце и так стояла, не сводя с военного посланца широко распахнутых светлых глаз, в которых отчаяние сменялось надеждой, а белые губы дрожали, пытаясь что-то сказать или спросить.

— Про-хо-дите,— наконец выдавила из себя.

Пропустила Гришку вперед, вошла в избу вслед за ним, села на табуретку и снова с надеждой и отчаянием уставилась на него. И он не знал, как вести себя, с чего начать и чем закончить. Молчание длилось долго, Гришку даже пот прошиб, потом он все-таки заговорил, рассказал матери о последних днях и часах жизни ее сына. Мать Шестого и слезами уливалась, и на Гришку как на покойника смотрела. Другие женщины, мигом заполнившие маленький дом, тоже поревели, в знак благодарности проводили Гришку до околицы и там тоже вроде как оплакали.

— Думала, ты мне скажешь, чтобы похоронке не верила... Ну да ладно, и на том спасибо!— высказала напоследок затаенное мать Шестого.

После такого прощанья на душе совсем муторно стало. Снова терзаться начал, правильно ли поступил? С одной стороны, как любил говорить старшина Фесенко, вроде бы правильно — последний долг погибшему отдал. А с другой? Мать Шестого от похоронки не успела отойти, а он снова боль растревожил. И на другое не находил ответа. Сколько раз слышал разговоры старых солдат о том, что человек свою смерть чувствует. Сам видел, как люди беспокойными становятся, все укрытия надежного ищут, у них даже лица другими становятся, чего-то ждущими. Это от смерти они стараются уйти.

Шестой свою гибель чувствовал, ее даже Малышкин

предвидел и перед тем боем попросил поберечь Шестого, не упускать его из виду. А Карпенко веселый был, не метался, и на лице у него ничего необычного не появилось. А может, только старался казаться веселым, может, и адресами после получения комсомольских билетов предложил обменяться для того, чтобы было кому написать матери о его гибели? Так, так, так, а сам он что чувствовал перед ранением? Когда снайпер взял под прицел, стал было прощаться с жизнью, а потом появилась надежда на избавление, стал думать, как обмануть снайпера. Если что и чувствовал, то умом, а не сердцем. Оно подсказывало, что все обойдется и он еще поживет. Так и вышло. Мина разорвалась ближе, чем карпенковская, но на тот свет не отправила. Значит?.. А черт его знает, что это значит...

8. СОВСЕМ ДРУГАЯ ВОЙНА

Раны в стопе заживали медленно. Они то затягивались, покрывались тонкой кожицей, то снова начинали гноиться. Их чистили, приходилось становиться на костыли. И до того это врачам надоело, что из Порхова они Иванова чуть было домой на долечивание не отпустили. Он уж письмо написал, мать порадовал, но врачи передумали и отправили ранбольшого Иванова совсем в другую сторону, в только что освобожденную Ригу, в четвертый по счету госпиталь.

В Риге непривычно и остро пахло морем, она поражала узенькими и кривыми улочками, множеством старинных, неизвестно в каких веках построенных домов, церквей и костелов. И здесь пришлось полежать долго. Для прохождения дальнейшей службы Иванова выписали лишь после установления хорошего снежного покрова.

Хотел, как договаривались с Малышкиным, вернуться в свою часть, но дивизия воевала на другом фронте, и он оказался в полку самоходной артиллерии, стал на

броню самоходки автоматчиком раскатывать. После пехоты новая служба раем показалась — самоходчиков берегли, одевали и кормили совсем не так, как матушку-пехоту. Убить, покалечить могли, конечно, и здесь, но, побывав в двух прорывах, Иванов убедился, что мчаться в атаку, спрятавшись за башней самоходки, спокойнее. И другие сравнения невольно приходили в голову: не надо топтать по грязи или снегу, по десять раз на день окапываться, каждый день слушать свист пуль и шуршание осколков. Побывал в деле и отдыхай, слушай музыку до следующего задания. И уж совсем понравилось на новом месте, когда его заряжающим пушки назначили.

Новому делу его и других бывших пехотинцев обучал командир роты, тоненький, как тростиночка, но уже с усами, старший лейтенант Разумовский. Показал, где лежат кассеты, какие снаряды фугасные, какие подкалиберные, по каким целям те и другие применяются, разрешил пострелять из пулемета, показал, как пользоваться радиостанцией, и заверил, что всему остальному, и гораздо лучше, в первом бою научатся. После окончания «курсов», когда сидели тесным кружком и дымили папиросами, старлей спросил:

— Кто знает, почему на всех машинах звездочки нарисованы? — и сам же ответил: — Наш полк первым в Ригу ворвался и награжден за это орденом Красной Звезды. Вы теперь тоже орденосцы. Учтите это и воюйте, чтобы оправдать оказанное вам доверие.

Через два дня полк бросили в прорыв, и Иванов первый раз пошел в наступление, защищенный со всех сторон крепкой броней. Из-за этого и не переживал нисколько: что за ней сделается? Пулемет, даже крупнокалиберный, которых он больше всего боялся в пехоте, не пробьет, автоматные очереди, что горох от стенки, будут отскакивать, из пушки в самоходку тоже трудно попасть. Она не стоит на месте, все время движется, а попадется удобная ложбинка, встанет так, что одна башня будет

видна. Попробуй разгляди ее! Однако когда снаряды начали плотно обкладываться САУ, стухнул. Броня показала не такой уж надежной, в мозгу засверлило: «Вот сейчас как даст, и все! И все!» И могло такое случиться, если бы машину не вел лучший механик полка, его земляк Хлынов. Как поддал газку, как рванул вперед да начал бросать пушку из стороны в сторону, так у вражеских артиллеристов руки затряслись, и САУ вырвалась из огневой завесы. Расслабились, вздохнули полной грудью и тут же почувствовали, что машина куда-то падает. Ямуловушку фрицы приготовили? Нет, еще движется, во что-то железное уткнулась, тогда только как-то боком встала.

Открыли люк и ахнули: на полном ходу сверзились в овраг и оказались посередине какого-то фашистского логова. Землянки кругом, мотоциклы, автобусы, один сбили — на боку лежит, неподалеку радиостанция с задранной в небо антенной. Автоматчики перед обрывом с самоходки спрыгнуть успели, немцам «хенде хох!» кричат, очередями им головы к земле гнут. Поозирались фрицы, глазами покрутили, соображая, сдаваться, удирать или в драку ввязываться. Пока свои варианты просчитывали, другие самоходки по более отлогим местам в овраг спустились и пушки на что надо направили. После этого все ясно стало, и дальнейшие уговоры прекратились.

Хлынов завел машину, а спятиться не смог. Застряла. Пришлось на буксире ее от автобуса оттаскивать, на ровное место выводить. Вытащили, вывели и узнали, что свалились не куда-нибудь, а прямо на какой-то немецкий штаб. Весь его в плен забрали. Каждый день бы так падать.

Помчались дальше и еще два дня прорыв обеспечивали, а вернулись домой, Иванов еле из машины выбрался. Ударил обо что-то ногу, она несколько суток болела и наливалась тяжестью, но терпела, теперь же взбунтовалась так, что земляк Хлынов повел его в санчасть.

Сапог стягивала медсестра Вера. Ловко и умело стягивала, но боль такую учинила, что слезы на глаза на-вернулись и взмок до седьмого пота. Взглянул на стопу и зажмурился — опухла, посинела, пальцы, как на руке, во все стороны топорщатся.

— Р-р-ра-ни-л-ло-о? — спросил крепким басом лежавший на койке и наблюдавший всю эту сцену чернявый парень.

— Ушиб. Ранило раньше.

— А-а-а, — равнодушно протянул парень и отвернулся.

Вскоре он оделся и ушел. Вера тут же подсела к Иванову и рассказала, что это командир машины лейтенант Тымчик. Он контужен, поэтому сильно заикается и почти не разговаривает.

— Сутками от него слова не добьешься, — сетовала Вера. — Все в лес зачем-то убегает и ходит там, ходит, а ночами кричит и стонет, стонет и кричит, наказание мне с ним. У него немцы всю семью сожгли. Загнали в баню и подпалили. Я в этой же комнате, вон за той занавесочкой сплю, — продолжала словоохотливая москвичка Вера, — и такого страха с ним натерпелась, что и сказать нельзя. Ты с ним поосторожнее будь. С контуженых какой спрос, и кто знает, что им в голову придет. Так что не возражай, если привяжется, а то он такой нервный, такой бешеный. Мне, говорит, только в машину сесть, фрицы меня долго помнить будут. Его бы в госпиталь, там бы он быстрее отошел, а тут то одного убьет, то другого, иногда целый экипаж сгорит, вот он и кричит по ночам. Нет, будь моя воля, я бы его куда-нибудь за Урал отправила, но командир полка не разрешает. Второго Тымчика, говорит, у меня не будет. Отчаянный он, храбрый! Смотри не попади к нему в экипаж, к этому храброму. Идет вон — легок на помине. Ты притворись, что спишь, может, и он заснет пораньше, а ночью начнет турусы разводить, так не бойся — я тут, рядышком.

Лейтенант Тымчик оказался совсем не таким страшным, каким его представила Вера. Ночью, правда, кричал и зубами скрежетал, но сон у Иванова крепкий, просыпался он редко, проснувшись, моментально засыпал снова. И не таким молчуном, как описывала Вера, был Тымчик.

— З-на-ал б-бы т-ты, к-ка-кие у м-меня б-бра-ти-к-ки и с-сес-тренки б-были,— рассказывал он глухим, откуда-то изнутри идущим голосом.— В-ве-селенькие, к-пре-п-пенькие. А т-те-п-перь я их все в огне и д-ды-му в-вижу и у м-ме-ня с-са-мого к-ко-жа г-го-реть начинает, г-го-ло-ва р-р-раска-лывается. Д-де-тей в огонь! К-куль-т-турная нация, н-на-зы-вается!

— Т-то-товарищ лейтенант, н-не р-рассказывайте дальше — вредно в-вам,— наслушавшись Тымчика и желая как-то помочь ему, начинал заикаться и Иванов.

— Н-на ф-фронте в-все в-вред-но,— возразил Тымчик и продолжал свой страшный рассказ.

Часа два не умолкал. Медсестра не выдержала и, хлопнув дверью, убежала.

Утром Вера выговорила:

— Раньше один спать не давал, теперь парой голосите. Вы что, сговорились?

— И я кричал?— удивился Иванов.

— Еще как. Все Люсю, Галю и еще каких-то девушек поминал.

— Скажешь тоже — девушек. Это сестренки мои,— покраснел Гришка.

— Что, их тоже сожгли?— ужаснулась Вера.

— Нет, они живенькие!

В санчасти Иванов пробыл недели две. Опухоль на ноге еще не прошла, подлечиться бы надо было, но выбыл из строя ординарец заместителя командира полка майора Кавкайкина, и Иванова временно определили на освободившееся место, здраво рассудив, что прибрать в комнате, помыть посуду и почистить обувь он и в одном сапо-

ге может, сходить на перевязку или на какую другую процедуру время тоже найдет.

Находил, нашел и для того, чтобы поразмыслить о плюсах и минусах новой жизни. Полк входил в резерв Главного Командования, и его по пустякам не дергали. Потерь в нем меньше, чем в пехоте, но там убитых чаще всего целыми хоронили, а здесь соберут в плащ-палатку кое-какие косточки, завяжут в узелок и в землю. Иногда в такой узелок останки от целого экипажа уместаются. Вот так, значит! Если еще поправочку на численность сделать — в полку самоходной артиллерии народа едва ли больше, чем в пехотном батальоне, — то сам черт не разберет, кого больше выбивают.

Техникой пополняли лучше. Пока ходил в автоматчиках, на вооружении в основном были «жучки» или «прощай, родина!» — так пушкари САУ-76 называли. Потом САУ-85 стали поступать, а за ними и стомиллиметровки. Эти все на свете сокрушить могут.

Когда пришли первые САУ-100, в полк приехал командующий бронетанковыми войсками 1-й Ударной армии полковник Овсянников. По этому случаю и по приказу майора Кавкайкина Иванов навел полный марш-фет, на столе все, что нужно для обеда и разговора, приготовил, больную ногу в сапог утолкал и стал ждать гостей. Скоро вместе с Кавкайкиным пришли командующий и командир полка майор Витко. Сначала о делах речь шла, командующий продолжал разгон давать, но постепенно, — люди же все, война у каждого в печенке сидит, — о семьях стали вспоминать, на будущее планы строить. Дальше, как часто бывает в мужской компании, до анекдотов добрались. Командующий веселее и смешливее всех оказался, то и дело глаза от слез протирали и руками размахивал.

Иванов тихо сидел в уголке и дивовался: первый раз столько больших командиров за одним столом видел и какие они все простые. Смеются, друг друга перебивают,

и никто не обижается. Все друзья, все любят и уважают друг друга, ведут себя ну совсем как мужики до войны в Валышево во время вечерних перекуров или в гостях друг у друга. Поглядел на них таких и сам расслабился, больную ногу задел так, что губу прикусил. Командир полка заметил это:

— Все еще болит?

Он вскочил, опять поморщился, но ответил бодро:

— Болит, товарищ майор, но скоро пройдет.

— Пройдет, куда она денется,— майор Витко окинул взглядом сидящих за столом и спросил с хитрецей в голосе:— Чтобы быстрее на ноги встать, знаешь, что надо сделать? Как костыльники в госпиталях «поправляются»? Шабарахнут от души, деревяшки под койку и топ-топ-топ на своих двоих. Держись-ка за меня и тихонечко пойдем к столу. Вот та-а-ак. Кавкайкин, налей штрафную своему ординарцу.

Такого оборота разговора Гришка не ожидал. Поморгал в растерянности, вздохнул, однако, учитывая хорошее настроение начальства, попытался и возразить:

— Я не пью, товарищ майор.

За столом воцарилось продолжительное молчание. Улыбки сбежали с лиц, в глазах появилась заинтересованность и недоумение.

— То есть как не пьешь? Совсем?— присел от удивления командир полка.

— Даже не пробовал, товарищ майор. Честное...

— А я тебе приказываю!— не то в шутку, не то серьезно протрубил командир полка.

Иванов перевел взгляд на командующего — слушаться ли? А командующий не менее командира полка удивлен столь странным заявлением ординарца, широко улыбается, беспомощно разводит руками и говорит с «сочувствием» в голосе:

— Извини, солдат, но я не вижу оснований для отмены приказа командира полка. Придется тебе подчиниться.

Садись-ка рядом со мной,— сам пододвинул эмалированную кружку, американскую колбасу, тушенку, вилку под руку устроил.— Пей, солдат, когда-то надо привыкать, а война кончится, так никто тебе наркомовские подносить не будет.

Что тут делать? Заглянул в кружку, ладно хоть налили немного!

— За удачу в бою, Гриша, за то, чтоб живым и здоровым к матери вернулся. У него отец с сорок первого воюет, так он с матерью два с половиной года кормильцем семьи был. В оккупации! С января сорок четвертого сам в строю,— пояснил майор Кавкайкин и поднялся.

За ним все встали, чокнулись, в глаза непьющему ординарцу заглядывают настойчиво и требовательно. Под таким прицельным огнем в ямке, как от снаряда, не укроешься. Вздохнул поглубже, сморщился и — грудь в крестах или голова в кустах — лихо, как показывают в кино, опрокинул кружку. Поперхнулся, зажал рот рукой, согнулся в три погибели.

Опалив рот, огонь побежал куда-то вниз, стал разливаться по телу.

— Ну вот и все, а ты боялся,— захохотал над ухом командующий.— Ешь давай и на нас не смотри — мы уже заправились.

— Спасибо, товарищ полковник, я сыт,— сказал по привычке, руки же сами потянулись к хлебу и тушенке.

Офицеры подождали, пока он насытится, потом стали расспрашивать о жизни в оккупации, где воюет отец, как живут сестренки с матерью. Пытался вскочить и отвечать как положено, но командующий придавил рукой:

— Сиди, не на строевом плацу и не ты у нас в гостях, а мы у тебя. Так, Кавкайкин?

— Так точно, товарищ полковник.

Старался отвечать коротко и ясно, по-военному. Вначале получалось, потом с языком что-то случилось, стал заикаться не хуже контуженого Тымчика.

— Строевым пройдешь ли, Гриша? Не разучился в артиллерии?

Поднял голову, наморщил лоб, соображая, кто задал вопрос и на кого при ответе смотреть надо, гаркнул:

— А что? Пройду!

Офицеры засмеялись:

— Ладно уж, строевым не надо, а за адъютантом командующего сбегай — полковнику ехать надо.

— Есть! — приложил руку к непокрытой шапкой голове, повернулся через левое плечо и растянулся на полу под хохот офицеров. Засмеялся вместе с ними, удивился, что нога совсем не болит, и провалился в сон.

Все еще смеясь, майор Кавкайкин поднял своего ординарца, уложил на нары, и тот проспал до следующего утра.

— Опохмелиться хочешь? — первым делом спросил майор.

— Не-е-е, — затряс головой Иванов и схватился за нее, разламывающуюся, обеими руками.

— Извини нас, мы думали, что ты нам очки втираешь, а ты и правда с рюмкой еще не целовался. Молодец!

Хорошим человеком был майор Кавкайкин. Он чем-то походил на капитана Малышкина. Такой же высокий, всегда подтянутый, и поговорить с ним, как с Малышкиным, можно было о чем угодно. Не воздвигал стену: я офицер — ты солдат. Но тут, как давно заметил Иванов, такая картина получалась: чем больше у человека звездочек и просветов, тем меньше он об этом напоминает, а вот ефрейторы, сержанты и особенно старшины всех ниже себя по званию на расстоянии держат. Младшие лейтенанты, которые только из училища, — тоже. Не все, но многие. И еще убедился, что в пехоте чинопочитания и козыряния больше. В роте его знали как Иванова и он всех лишь по фамилии знал и помнил, а у самоходчиков снова Гришкой стал. Тут всех рядовых, сержантов и даже лейтенантов по имени кличут. Механика Лит-

винцева.— Витькой. Лучшего механика полка Хлынова, который с одного захода пушку на железнодорожную платформу ставит, все Лешкой зовут. И это потому, решил Иванов, что и офицеры и рядовые в одной машине сидят, а снаряды не разбирают, у кого какие погоны на плечах. И зависят друг от друга больше, чем в пехоте. Один промашку дал — ответ всем держать. Ловкость и умение проявил — все живы остались. Вот никто и не кичится ни лычками, ни звездочками. И требовательности больше. Что не так сделаешь, так и по шее схлопочешь. Как в семье принято.

9. В ОКРУЖЕНИИ

Задуманный и провозглашенный на века, но обескровленный за неполных четыре года войны, рейх доживал последние дни. Давно и полностью освобождены Венгрия и Румыния. Король Михай в румынском небе дрался с фашистскими асами и был удостоен ордена «Победа». Солдаты со звездочками на пилотках вели бои в Чехословакии и Австрии, с января сорок пятого один за другим брали немецкие города, готовились к штурму Берлина.

Война шла к концу, но от этого не становилась милосерднее. Сопротивление фашистов не ослабевало. Пополненный после очередного прорыва новенькими САУ-100, усиленный батальоном огнеметных танков, полк без промедления бросили в новый прорыв с приказом, не оглядываясь назад и на фланги, идти как можно дальше вперед.

Рванули вместе с пехотой, а она избаловалась. Без поддержки танков и САУ вперед не идет. Чуть где заминка, бежит к пушкарям и танкистам — помогите, не пускает! И приходится откликаться на первый зов, мчаться в указанное место, пугать вражеских солдат и грозным рыком бронированных машин, и их всесокрушающим огнем.

Помня о грозном приказе, командиры САУ назад не оглядывались и о том, как продвигаются соседи, не заботились. Были уверены, что не их одних в прорыв бросили, справа и слева тоже кто-то свою задачу выполняет и к морю спешит. И оснований для беспокойства первые дни не было: фронт, было слышно, двигался лавиной, боеприпасы и горючее поступали вовремя, в ремонт отправили всего две машины. Жить можно. Но скоро и сбои начались. Сначала маленькие, потом где-то стали задерживаться заправщики, машины с боекомплектами. Опоздают да еще и оправдываются: еле прорвались, еле прорвались. А чего им, тыловикам, прорываться, когда прорыв давным-давно сделан и обеспечен. Все началось вроде бы с пустячков, а кончилось тем, что полк со всеми своими вспомогательными службами, горючим, снарядами и патронами за кольцом остался, а вырвавшийся вперед и оторвавшийся от своих батальон только что назначенного комбатом старшего лейтенанта Разумовского в мешок попал с туго перетянутой горловиной.

Знать бы об этом пораньше, так поберегли бы и горючее и снаряды, но не знали и оказались без запаса. Пришлось рассредоточиться и встать в оборону, стрелять лишь наверняка. Пехоте более или менее спокойный отход обеспечили и оказались в ее боевых порядках.

Слили горючее в три машины, чтобы они могли маневрировать, в разных местах показываться и создать впечатление множества. Остальные в тыл оттянули. Через день горючее в одной осталось и снаряды кончились. Основным оружием стали пулеметы. Фашисты пронюхали о бедственном положении самоходчиков, стали засылать штурмовые группы для захвата машин. Пришлось браться за гранаты и автоматы, круглосуточно держать боевое охранение и вместе с пехотой занимать круговую оборону. Довоевались!

Из полка по рации передали приказ: уничтожить

технику и выходить из окружения. Это в апреле-то сорок пятого! Чуть-чуть пораньше бы хватились, так с техникой могли выйти и сколько фашистов по пути побить, а теперь новенькие, врагом не сожженные машины самим подрывать? Ну ж, дудки! Не может быть такого приказа! Провокация! Но приказ был подтвержден.

Комбат Разумовский час, а может, всего несколько минут сидел, ни на кого не глядя, потом вскочил, будто его укусили, и закричал:

— Что на меня уставились? Что? Надо дело делать! Не фрицам же все это отдавать! — обвел воспаленными глазами обреченное на гибель бронированное хозяйство и продолжал, будто кто спорил с ним: — Фрицы снаряды и горючее быстро найдут. Понятно это вам? Витька! — воззрился на механика Литвинцева. — Какого черта ты землю сапогами роешь? Не нравится, что я говорю? А мне, думаешь, нравится? Нравится, да?

— Мабудь, подождем трошки? — поднял на комбата глаза Литвинцев.

— Молчать! Умник какой нашелся! Не подумал, что фрицы на машинах со звездочками так по нашим тылам пройти могут, что нас за это повесить будет мало? Ну что молчите? Что? Есть хоть у кого-нибудь закурить? — глотая слюну, чуть не слезно вымолвил некурящий Разумовский и отрезал, не дождавшись желанного ответа: — Приступайте! Немедленно!

Век бы не слышать такого приказа! Но надо выполнять — правильный он. Сняли пулеметы, замки пушек, облили САУ остатками горючего, заложили захваченную у фрицев три дня назад взрывчатку под трансмиссии и внутрь машин, и прогрохотали над округой один за другим страшные взрывы.

Разумовский проверил, хорошо ли сделана работа. Хорошо. Не орудия, а железный лом достанется врагу, и его он вряд ли успеет вывезти.

Отходили болотами, проселочными дорогами. По-

падались на пути хутора, но в них ни человека, ни корочки хлеба. Когда-то Гришке самым тяжким в его жизни казался путь от Валышево до Дедовой Луки, потом — переход с партизанами линии фронта, затяжные марши на Псковщине, когда и с ног валялись, и засыпали на ходу. Теперь бы так...

Уходили от погони день и ночь. Без привалов. Клюкву-веснянку и то пособирать некогда. Что по пути схватишь, то и твое. Впереди мертвая тишина — никто не спешит на помощь окруженным, — позади почти непрерывные пулеметные и автоматные очереди. И не оторвешься от них — сил нет, и немцы спешат поскорее расправиться с попавшими в окружение.

В полдень, яркий, солнечный, даже жаркий, не заглядывая в дома, прошли хутор, поле за ним и на опушке попадали головами на запад в ожидании появления фашистских автоматчиков. Они не задержались. Обстреляв хутор из пулемета, человек пять побежали к нему посмотреть, не там ли русские. Остальные стали простреливать опушку. Самоходчики не отвечали — пусть подойдут ближе, что напрасно тратить последние патроны. И бой будет последним. Этих как-нибудь отгонят, уйти от них сумеют, а чем дальше биться?

Наверх вы, товарищи, все по местам —
Последний парад насту-па-ет...

Зацепились эти строчки в мозгу, и не может от них избавиться Гришка.

С первого дня выхода из окружения он стрелял только короткими, на три-четыре патрона, очередями. На опушке передвинул рычажок автомата на стрельбу одиночными. Нажал — выстрел. Нажал — выстрел. После каждого нажатия на спусковой крючок израсходуешь всего один патрон. А сколько осталось? Вынул диск, приброесил в руке — патронов тридцать. Вот столько фашистов уложить, и ладно было бы. Для этого их надо подпустить совсем близко, чтобы стрелять без промаха.

Выстрел — фашист, выстрел — фашист. Раз надо, он подпустит. Есть у него еще эфка, в правом кармане хранится автоматный патрон. Когда опустеет диск, можно вставить этот патрон в ствол и сделать последний выстрел.

Последний парад... Обидно, что наступает он в такое время. Столько маялся, всю войну пережил и напоследок... Лучше бы уж раньше. Гришка еще раз ощупал последний патрон, под правую руку положил гранату с отогнутыми усиками чеки, чтобы не возиться с ней, в случае чего зубами вырвать, и тут, совсем так, как в кино бывает, на востоке, показалось, совсем недалеко, как-то сразу и оглушительно загремело.

— Наши? На-ши-и! — сначала спросил, потом подтвердил свое предположение Разумовский, услышав разрывы снарядов САУ-100.

Переглянулись. Пожали плечами — разве такое бывает в жизни? Поднялись. Пошли. Побежали. Но сил хватило ненадолго. И не так близко, как думали, завязался бой. Перешли на шаг. Жадно прислушивались к разрывам снарядов и пулеметным очередям.

Бой накалялся, расползался в стороны, а позади тихо. Автоматчики не преследовали и не стреляли. Не назад ли уже повернули?

Пересохшими от волнения ртами глотали оставшийся в лесу уже почерневший снег. Когда над головами запели свои пули, залегли, но не утерпели, поднялись, побежали. Увидели самоходку. Открылся люк, из него высунулся лейтенант Тымчик:

— Э-эй, ж-жи-вы? К-кухня ждет в-вас, р-ре-бят, а м-мы им с-сей-час д-да-дим п-п-прикурить! — захлопнул люк, и САУ-100, обдав всех родным дымком, вышвырнув из-под гусениц ошметки грязи, рванула вперед.

Дома узнали: раненые командир полка майор Витко и начальник штаба безрукий майор Кордубан, остервенясь, собрали в кучу остатки пехоты, саперов, артилле-

ристов, поваров, сапожников, писарей, связистов и бросили в прорыв. Вперед пустили батальон огнеметных танков. Он и обеспечил успех. И спасение самоходчикам.

Последние силы Гришка потратил на то, чтобы стянуть сапоги, размотать портянки, и, довольный, откинулся к стене дома. Так блаженствовал минут пять, потом посмотрел на ноги и присвистнул — бело-розовые, размягченные, все в полосах и складках, какие-то водянистые. они что-то напоминали, что — вспомнить не мог. Посмотрел на ноги товарищей — и у них такие же. Вспомнил — примерно так выглядели руки матери, когда она заканчивала стирку. «Исстирала я руки,— говорила мать.— Одна кожа да косточки остались». Такими были у самоходчиков ноги — несколько суток брели они по сырой земле, а чаще по воде, переобуваться было некогда.

10. ДО ПОБЕДЫ ВСЕГО НИЧЕГО

Восьмого мая полк провел на марше. Перед ним получили НЗ, забили снарядами все кассеты, погрузили ящики с ними же и с патронами, под завязку запаслись гранатами.

— Каптерка какая-то, а не орудие,— ворчал Витька Литвинцев.— И так тесно, а теперь и ногу поставить некуда.

— Вам, сеньор, рычаги сюда подать или в машину заберетесь?— подковырнул Лешка Хлынов. И тут же:— Встать! Смир-р-рна-а! Товарищ командир орудия, машина к маршу и бою готова. Докладывает старорусец Хлынов.

Это он недавно назначенного командиром орудия на Т-34 Гришку так подначивал. Уже полных восемнадцать Иванову! Комбинезон на нем сидит ладно, на груди

поблескивают орден Славы 3-й степени, медаль «За боевые заслуги», в самоходном полку заслуженные*. На голове у Гришки Иванова шлем танкистский, из-под него поблескивают веселые и безбоязненные глаза.

Целый день бежали гусеницы по булыжнику, асфальту, по ухоженным и неухоженным грунтовым дорогам, мяли глину и суглинок, прокладывали глубокие борозды в песке, поднимали тучи пыли всех возможных цветов. В назначенное место прибыли в поздние сумерки, остановились в густом и разлапистом ельнике недалеко от передовой. На ней стояла непривычная тишина. Даже немцы не вели пулеметного обстрела, который обычно начинали с вечера и не прекращали до рассвета. Поступил приказ выдвинуться на передовую и занять места в приготовленных капонирах.

Чтобы немцы не услышали шум моторов и не всполошились, пехота начала постреливать из пулеметов, и машины с двигателями, работающими на малых оборотах, одна за другой стали занимать капониры. Их разводил старшина-регулировщик. Встречал на подходе, объяснял, куда поведет, а дальше водители следили за его белой рубашкой — в темноте она была хорошо видна.

Утром самоходки и танки откроют огонь прямой наводкой из капониров, уничтожат вражеские огневые точки, подавят их огонь и впереди пехоты, расчищая ей путь, помчатся к вражеским траншеям.

Немцы молчали. Ни одного выстрела с их стороны. Свои пушки и танки были рядом, но пехотинцы забеспокоились — не собираются ли фрицы в наступление переходить?

* Медаль «За отвагу», о которой Гришке рассказывал капитан Малышкин в госпитале, найдет Г. Ф. Иванова лишь в 1950 году, а еще один орден Славы так где-то и сгинет.

Никогда так упорно не молчали по ночам. Стали их подразнивать. Нет, не отвечают.

Старшина встретил последнюю машину, помахал водителю руками, убедился, что он видит его, повернулся и пошел, радуясь окончанию работы и тому, что она прошла без сучка и задоринки. И все радовались. И не обратили внимания на короткую и какую-то словно бы оборванную очередь с той стороны. Там кто-то начал стрелять, а ему вроде бы по рукам дали. Пустяковая очередь, а танк встал — куда-то исчез старшина-регулировщик. На землю спрыгнул командир машины, начал осматриваться.

Заметив распростертого на земле старшину, подошел ближе, спросил:

— Ранило тебя, что ли?

Старшина не отвечал. Он был мертв.

Давно воевали самоходчики, не всех убитых уже и в лицо помнили, но эта нелепая смерть поразила — несколько недель, может быть, даже дней осталось до конца войны — и на тебе!

Невольно прикидывали, что еще многие не доживут, кто-то погибнет завтра утром.

На войне почти все становятся суеверными, и почти все в неожиданной смерти старшины дурной знак увидели. Гришка Иванов тоже. На душе у него смутно стало, будто ожидаемый приказ должен быть для него первым в жизни приказом на наступление, а он столько раз смерть в лицо видел, что и не сосчитать, и, пожалуй, в оккупации чаще, чем на фронте. Во время оккупации его в любую минуту мог пристрелить каждый увидевший его фашист, а на фронте кое-что и от него зависело.

Он мог предупредить встречный выстрел и предупредить. Пока смерть миновала его. Неужели сегодня? Не зря же так тяготит дурное предчувствие. И раньше бывало, но не так.

Может, потому, что старшину жалко? Двое ребят его дома дожидаются. И судьба Тымчика не давала покоя. Все говорят, что расстреляют лейтенанта или в дом сумасшедших отправят. Так он и есть сумасшедший. Нормальный бы такого не сделал.

Шли они неделю назад колонной по шоссе. Навстречу пленных гнали. Фрицы понимали, что плен для них спасение, и шли веселыми. Это, видно, и вывело Тымчика из себя. Лейтенант прыгнул вниз, сбил со своего места механика, взялся за рычаги, направил машину на колонну, врезался в нее и пошел... Такого натворил, что и в дурном сне не приснится.

И смерть старшины не выходит у Иванова из головы, и ЧП с Тымчиком.

Все видится его неузнаваемое, страшное лицо, то, как заталкивают лейтенанта в «виллис» и увозят. Хороший был человек, неужели не поймут, почему он так поступил?

Майская ночь коротка и тепла. Почти все устроились на травке — шинель наверх, шинель под бок, под голову шинель, — но сон не шел. И разговор не получался. Лежали, ворочались, кряхтели, дымили. Нещадно дымили в ожидании неминуемого боя. На исходе ночи в тылу началась вдруг ошалелая стрельба, захлопали зенитки.

Десант? Какая-то часть из окружения прорывается? А на обороне фрицы ведут себя тихо, будто и нет их совсем. Пока прислушивались, приглядывались, стараясь понять, что происходит, из люка одной машины выпрыгнул танкист и завопил:

— Брат-цы-ы! Война кончилась! Ура, ребята!

Еще один нервный? Кто был поближе, кинулись к нему, повалили, прижали, как Тымчика, к земле, а он:

— Да не сдурел я, ребята! Правда кончилась. Включите рации.

Нажим на него ослабили, но на ноги подняться не дали, пока из других машин не закричали:

— Кончилась!

— Победа-а!

— Шабаш! Никакого прорыва, и все мы живы!

Вот тут и началось! Со стороны могло показаться, что с ума посходили все. Почти четыре года ждали этих слов, верили, что когда-нибудь услышат, если останутся живыми. Услышали и стали повторять восторженно, изумленно, недоверчиво прислушиваясь к ним и соображая, что теперь делать и как жить дальше, если она действительно кончилась? А будь что будет. Лешка Хлынов вскочил на машину и устроил на ней пляску. Кто-то обхватил и неистово целовал пушку, не раз ему жизнь спасшую. Многие катались, как малые дети, по траве и ходили на руках. В тылу стрельба усилилась — там о Победе раньше узнали и на радостях продолжали палить в небо. Тут же все стволы вверх и — пока не кончились снаряды и патроны.

— Братцы, смотрите! Сюда смотрите!

Повернули на крик головы — по всему вражескому переднему краю белеют простыни, полотенца, просто тряпки.

Так вот почему не стреляли этой ночью немцы! Они уже знали! Раньше знали. Кто-то случайно или со злости дал всего одну очередь, и она прошла по старшине.

Победа!

Победа!

Победа-а!

Девятого мая, в полдень, полк снова был на марше. Самоходчики подшучивали:

— Она кончилась, а нас опять куда-то гонят.

— Куда надо, а может, к морю на курорты, чтобы отдохнули, значит, позагорали и шеи покрепче наели.

— Если так, можно и поднажать.

— Поднажми — не везде, видно, кончилась, если нам снова полный боезапас дали.

Иванов сидел, наполовину высунувшись из башни, и глазел по сторонам. Машины шли по широкому и прямому, обсаженному за обочинами деревьями шоссе. На полях всюду зеленела трава, деревья тоже были уже в листве, а небо чистым и словно умытым в честь праздника.

Впереди показалось серое пятно, стало расти, приближаться. Вгляделся — опять колонна пленных. С кухнями, повозками, на которых везли какой-то скарб, больных и раненых. На этот раз встреча была мирной, даже руками помахали — что было, то прошло, чего уж теперь.

Гришка Иванов тоже помахал, но сразу и почувствовал, что настроение испортилось, — Тымчика опять вспомнил. В честь Победы, может, не расстреляют лейтенанта, но лет десять все равно дадут. Дадут, а мог ехать сейчас вместе с ними и радоваться первому мирному дню, первому мирному маршу, когда не надо ни по сторонам глядеть, ни на небо засматриваться.

Разминулись. Прибавили скорость. Прошли еще километра два. Справа шоссе сплошной стеной стоял сосновый лес, слева простиралось поле. На дальнем конце его маячили постройки небольшого хутора. Гришка скользнул по нему взглядом и отвернулся.

Очнулся на земле. В ушах звон, голова раскалывается. Поташнивает. Хотел спросить у окруживших его, что с ним, и не мог выговорить и слова. О чем они говорили, тоже не слышал. Лешка Хлынов ощупал его всего и покрутил пальцем у головы, давая понять, что контузило. Спросил взглядом — как, почему? Лешка показал на танк. В его левом борту зияла пробоина. Неподалеку крутился на земле и что-то кричал механик-водитель. Лешка показал на глаза, сделал руками крест. А другие?

Хлынов стиснул зубы и закрыл глаза. Кто? Хлынов приподнял его и показал на поле. Там танкисты гонялись за фашистскими артиллеристами какой-то пушчонки, которые открыли огонь по колонне и подбили две машины.

Как в фильме «Она защищает Родину», подумал Гришка и еще подумал о том, что ему повезло и в первый послевоенный день,— не убило, а всего лишь контузило.

Вот и вся война...



Самолет вылетал из Свердловска затемно. Работники порта и пассажиры разговаривали вяло, ходили с невыспавшимися глазами, но порядок соблюдался: вовремя объявили и закончили регистрацию билетов, вовремя — о начале посадки. И вот тут, пока отсек досмотра багажа только заполнялся, я услышал обращенный ко мне голос:

— Помогите, пожалуйста, застегнуть сумку.

На контроле ее добросовестно переверорошили, а у человека, обратившегося ко мне с такой просьбой, правый рукав пальто был засунут в карман. Я сжал бока сумки, он стал тянуть замок. Не сразу, но справились. Человек поднялся с корточек, дружески взглянул на меня светло-голубыми глазами. Лицо у него было гладкое, почти без морщинок. На голове шапка-ушанка, под коротким демисезонным пальто угадывалась крепкая фигура.

— Большое спасибо! — поблагодарил он.

— Пожалуйста, не за что, — привычно ответил я и, уступив ему место, пошел в тамбур, где уже вспыхивали последние перед отлетом огоньки сигарет.

В толчее посадки мы не встретились, места в самолете оказались в разных салонах, и я уже забыл об этом человеке. Но в Симферополе случай снова свел нас.

Я подходил к автобусной станции, когда по радио объявили:

— В автобусе до Ялты на рейс девять десять есть свободные места. Желающие уехать могут приобрести билеты без очереди. Повторяю...

Я мысленно поблагодарил автомобилистов за такую заботу о пассажирах — думал, что отправиться до Ялты можно где-то в городе, — без очереди купил билет, поднялся в полупустой автобус, стал продвигаться в середину салона, но меня остановил уже знакомый голос:

— Садитесь рядом — вместе и поедem.

Человек без руки сидел сразу за кабиной шофера, я воспользовался его приглашением и скоро узнал, что он живет в Гурзуфе, а возвращается из поселка Комсомольского Тюменской области. Отвозил туда внука.

Я никогда не был в Крыму в феврале, думал, в это время там уже деревья цветут, а за окном автобуса простирались заснеженные, совершенно белые от недавно выпавшего снега поля.

— В Гурзуф мы из-за жены перебрались, — продолжал попутчик. — Грипп дал осложнение на легких, и врачи посоветовали сменить климат. Поменяли квартиру, год прожили, и все, как рукой, сняло. А сам я алтаец, зиму, снег, холод люблю и на север, к дочери, все время езжу. Первый раз прилетел, она тогда в Сургуте жила, так снегу, как маленький, не мог нарадоваться. Маленькие и друзьями мне стали. Ребятишек там пруд пруди, а заняться им нечем. Мне — тоже. Выбрал компанию постарше и говорю: «А почему бы нам, братцы, каток не залить?» Покривились: «Где нам?» Начал с двумя помощниками, а потом и от дошкoлят отбоя не было. Доски и столбы достали, залили каток. На следующий год приезжаю — кричат: «Дядя Толя приехал! Каток будем строить!» Так и повелось. Вы на фронте ногу потеряли? — спросил он неожиданно.

— Да...

— Я тоже там пострадал. Редко вспоминаю об этом...

Уже давно подмечено, что самые душевные излияния чаще всего происходят между совершенно незнакомыми

людьми. И объяснение этому есть: сокровенным легче всего поделиться с человеком, надежды встретить которого мало, а то и совсем никакой. Так что я такому началу нашей беседы даже обрадовался — уже возникла между нами какая-то симпатия, я чувствовал, что попутчик собирается вести речь не о пустяках. Так и оказалось. Начал он с довоенных времен:

— Я ФЗУ кончал, слесарем-паровозником работал, потом поступил в Алтайский механо-технологический техникум молочной промышленности. На последнем курсе, в январе тридцать восьмого года, женился, в июле получил корочки, а через месяц ушел в армию, на действительную, — он умолк, хлопнул себя по колену: — Бог ты мой! В январе будущего года нам с Клавой золотую свадьбу надо справлять! Бежит же время. В армии я летные поля строил, был начальником карьера на Дальнем Востоке. Демобилизовался в сороковом. Предлагали сверхсрочную на должности начальника сразу трех карьеров. Отказался — сын у меня Эдик уже родился, да и домой потянуло.

Вернулся накануне сорок первого, работал в Рубцовске по своей специальности. Двадцать второго июня, в воскресенье, хотел в командировку уехать, утром пошел на речку искупаться, а вернулся — о войне узнал. На другой день повестка пришла.

Привезли нас в Барнаул. Там уже «купцы» ждут. Артиллеристов им надо, минометчиков, шоферов, а моя военная специальность никому не нужна, гражданская — тоже. И вдруг вижу своего, рубцовского. Он старшиной был, командиром хозяйственного взвода, и предложил идти к нему ездовым. Говорю, что я лошадь запрячь не умею и верхом в жизни не ездил. Он посмеялся:

— Не умеешь — научим, не хочешь — заставим!

Взял.

А дальше все быстро пошло. Второго или третьего июля наша 107-я сибирская стрелковая дивизия была

в Москве, а скоро — под Смоленском, в районе города Дорогобуж. Здесь мы почти месяц без дела простояли. Ну как без дела? К боям, конечно, готовились, но не воевали.

Штаб дивизии расположился в овраге, а немцы решили, что он в городе, и сожгли Дорогобуж с самолетов. Он небольшой, почти все дома деревянные. Хотите расскажу, как к нам Симонов приезжал?

Только он появился в расположении дивизии, нас принялись бомбить три самолета. Один сбили. Летчики с парашютами выпрыгнули, а те двое не улетают, кружатся, выискивают место, где можно сесть и своих забрать. Тут мы огонь открыли, еще одного сбили. Третий развернулся и улетел. Симонов с фотокорреспондентом Трошкиным и шофером Панковым все это видели и примчались, чтобы пленных летчиков заснять и сбитые самолеты. Несколько кадров щелкнули, и тут их арестовали. Как диверсантов! Повезли в штаб дивизии. Я Симонова в этот день не видел, слышал только о пойманных диверсантах, а кто они были на самом деле, узнал много лет спустя из записок самого Симонова.

— Да, большую правду он о войне оставил!

— Именно! Но вот как подумаю, что он чуть не погиб из-за какого-то дурака в моей родной дивизии, стыдно становится. Ведь безмозглому мальчишке, оперуполномоченному, показалось подозрительным, что на Трошкине надета кожаная куртка и в руках у него лейка. Ни то, ни другое он, видимо, в глаза не видел, заподозрил. А заподозрил, значит, задержать надо и по условиям военного времени быстрее в расход пустить. И наплевать ему, что документы у подозреваемых в порядке. Что ведут они себя совсем не так, как должны бы в подобной ситуации настоящие диверсанты. В крытую машину их вместе с пленными летчиками. Приказал конвоиру снять автомат с предохранителя, поставить на стрельбу очередями и стрелять при малейшей попытке

к бегству. Если автомат срабатывает на каком-нибудь ухабе, значит, так тому и быть. Пленку засветить! Этому оперу и в голову не пришло, что пленка — самое серьезное доказательство вины или невиновности задержанных. Да он и не мыслил о невиновности — раз возникло подозрение, то виноваты. И напрасно Симонов не написал рапорт, как думал вначале. Простил...

Автобус выбрался из новых и широких улиц Симферополя, шел мимо бесчисленных поселков, застроенных нарядными бело-синими домиками. Высоко поднялось солнце. Снег слепил глаза. Сосед надолго замолк, уйдя в воспоминания. Я не торопил. И он, погода, заговорил, тихо, раздумчиво, будто думал вслух.

— ...Бои за ликвидацию Ельнинского выступа начались в августе. Я в них не участвовал, только кухню на передовую возил, но двух лошадей у меня убило. Дивизия наша в этом сражении отличилась, ей одной из первых было присвоено звание гвардейской! У Симонова же вычитал, что дивизия в боях за Ельню уничтожила двадцать восемь танков, кажется, шестьдесят пять орудий и около семисот пятидесяти солдат и офицеров противника. Сама потеряла четыре тысячи двести человек. За каждого убитого фашиста пять своих отдали — и воевать еще не научились, и оружие какое было! Винтовок и тех не хватало. Я сам гол как сокол был, пока не обзавелся карабином.

К концу войны наша дивизия именовалась 5-й гвардейской, Городокской, а дальше, дай бог памяти, чтобы не пропустить чего, орденов Ленина, Красного Знамени и Суворова второй степени стрелковой дивизией. В сорок пятом брала Кенигсберг, наимоощнейшую с несколькими линиями круговой обороны крепость со рвами, огневыми точками в броне и камне и потеряла... сто восемьдесят девять человек! Впечатляющие цифры, да? А узнал об этом тоже у Симонова — он нашу дивизию до самой Победы из виду не упускал.

Ельню мы прошли шестого сентября. Думали, дальше пойдём, на Смоленск, но дошли до станции Глинка, там нас погрузили в вагоны и повезли на север, в Вышний Волочек, на пополнение. Сформировались, поучились, прикидывали, что где-то поблизости и воевать придется, но опять просчитались. Немцы в это время к Орлу подходили, и дивизию нашу бросили на юг, но от Тулы эшелоны повернули на Калугу. До нее тоже не доехали. Недалеко от Алексина попали под бомбежку. Если память не изменяет, произошло это пятого октября. Выгрузились, пошли пешком. Дождь хлещет, ветер насквозь продувает, грязь на дороге такая, что и во сне не приснится. Ну это природа, ей не прикажешь, а вот люди... Алексин прошли утром, часа два в каком-то лесу поспали, потом полк построили на поляне, вывели красноармейца и зачитали приговор. Яма тут же была выкопана. Подвели его к ней и на наших глазах расстреляли. Осадок, знаете, на душе жуткий остался. Парня признали виновным в дезертирстве, в том, что во время бомбежки выскочил из вагона и убежал. Но он только вначале растерялся, потом справился со страхом, взял себя в руки и догнал роту. Его не искали, и дезертиром он не был. Столько лет минуло, а я не могу забыть этот расстрел на поляне.

Сосед снова умолк, в который уж, видимо, раз за свою жизнь осмысливая и заново оценивая давно случившееся. А мне вспомнился случай, уже из сорок четвертого года. Каким-то безымянным ручьем наш батальон продвигался по густому кустарнику для сближения с противником. Навстречу, не замечая нас, в валенках-бахилах, в длиннополой, свисающей с плеч шинели, еле передвигая ноги, шел по снегу недавно призванный в армию мальчишка. Из его глаз лились слезы, винтовку волочил за собой, как тяжелую и длинную палку. Что-то потрясло мальчишку, может быть, на его глазах кого-то разорвало снарядом — кусты обстреливали «фердинан-

ды». Не знаю, что случилось с ним, возможно, он плакал, будучи раненным, не в силах терпеть боль, другое поразило и поражает поныне: никому не пришло в голову осудить маленького солдатика, никто не пытался его остановить. Даже комбат Демьянюк, даже оперуполномоченный батальона старший лейтенант Высочин. Думаю, что в мыслях у всех было одно: опомнится мальчишка, сам совладеет с собой. И стыдно ему станет за проявленное малодушие, и никогда больше он себе такого не позволит, а если беспощадная и к солдатам и к генералам война смилостивилась над ним, то наверняка рассказывает он теперь внукам об этом случае и с благодарностью вспоминает старших солдат и офицеров, которые поняли его состояние и даже не оскорбили.

Вывел меня из раздумья голос соседа.

— Еще по пути на фронт нам дали нового взводного, лейтенанта лет тридцати. Повислый нос придавал ему унылый вид. Нашего рубцовского старшину куда-то перевели, и больше я его не видел, а этот выпивохой оказался. Однажды так нализался, что вытащил пистолет и хотел застрелить повара. Я рядом был и руку на него поднял. Ну, как поднял? Пистолет выбил, его загнал в каптерку до утра. Проспался он там, перед поваром извинился — у пьяниц это легко получается, — а на меня зло затаил. И вот, Алексин мы уже прошли, подзывает меня лейтенант этот и говорит: «Катись-ка ты, друг милый и справедливый, в роту, к настоящему огоньку поближе, чтобы не зажиреть возле кухни». Сказал так и смотрит на меня — как отреагирую, не паду ли в ноги. А мне до того надоело на его вечно пьяную физиономию смотреть, что я даже обрадовался такому исходу. Подхватил вещмешок, карабин с собой забрал, пошел в роту и с нею уже продолжал путь к Калуге.

Шли день, всю ночь. Грязь по колено, до нас уже чьими-то ботинками и сапогами перемешанная. На привале упадешь, где стоишь, поспишь отведенное для от-

дыха время и дальше продолжаешь спать на ходу. Кто-то падает, кого-то в сторону уводит, его обратно в полуразвалившийся строй заталкивают, и вперед, вперед.

Командир роты оказался невысоким, щупленьким, с плешинкой в белесых волосах старшим лейтенантом из запасных — в гражданскую еще воевал. Посмотрел он на меня снизу вверх, что-то прикинул и определил своим связным. А пополнение на формировке мы получили такое: взводными пришли девятнадцатилетние розовощекие лейтенанты, а красноармейцы почти все уже пожилые, под стать нашему ротному. Может, и не такие они были старые, но мне тогда все, кому за тридцать, стариками казались.

К Калуге вышли на рассвете, по пути похватали и погрызли брюкву — кухня где-то отстала, поймой Оки обошли город, к вечеру увидели детский санаторий с веселыми синенькими домиками. Получили приказ окопаться. Я выкопал окопчик ротному, потом себе. Ротный послал один взвод в разведку. Ушли они, миленькие, и пропали. Сгинули, хотя впереди никакого боя не было. Представляете себе положение командира роты? Он тоже из пополнения, первый раз в дело вступил, он еще земной, гражданский и разговаривает, будто дома сидя у самовара, по-домашнему, и плешинку свою потирает, а тут такое ЧП! Как быть, что дальше делать, он не знает. Жаль мне его стало. «Разрешите, товарищ старший лейтенант, — обращаюсь к ротному, — мне в разведку сходить, узнать, что со взводом случилось?» Он обрадовался, а на фронте, помните, одному никуда ходить не разрешалось, только вдвоем. Попался ротному на глаза старенький боец, он и турнул его вместе со мной. Ну, сколько мы прошли? Метров пятьсот, наверно. Впереди поляна. За ней кусты. Только дальше двинулись, немецкий говор слышался. Я под сосну упал, а мой напарник со страха на голом месте растянулся. Немцы показались. Я одного со второго выстрела уложил, они по нам

и плеснули из автоматов, точно из брандспойтов. Оглянулся на старичка — у него от вещмешка только ключья летят. Ах, думаю, сволочи фашистские, убили ведь. Сейчас я вам отвечу. Стал прицеливаться — у меня почему-то планка прицела поднята. Прихлопнул ее ладонью и с первого выстрела второго на тот свет отправил. Остальные, их человек пять было, тоже разведка, наверно, убежали, за снайпера, видно, меня приняли. Я — к старичку. Мертв. Винтовку и документы у него забрал и бегом назад на доклад к своему ротному.

Приготовились к отражению атаки, вперед посты выставили, а немцы не идут, и нам наступать приказа нет. Пождали, пождали да и засыпать по одному начали. Ротный, намаявшись за последние дни, тоже уснул. Я накрыл его плащ-палаткой, хотел вздремнуть, но не смог — так близко, как в этот вечер, немцев не видел, стрелять по людям тоже не приходилось. Эти двое были первыми мною лично убитыми, и переживаний хватило до утра. Все время говор немецкий слышался, жесткий такой, резкий. Настроение подавленное.

Утром вернувшийся из Калуги боец доложил, что оставшаяся там кухня разбита, повар и его помощник убиты, в город вступают фашисты. Будь я еще при кухне, со смертью мне бы, скорее всего, не разойтись. Спас, выходит, меня взводный.

Не успели оправиться от этого известия, начался минометный обстрел. Тут меня ротный хорошо погонял. То в один взвод пошлет, то в другой — передать что-нибудь, узнать, держатся ли. В очередной раз к нему возвращаюсь, а он лежит, осколки ему все бедро разворотили. Санитары унесли старшего лейтенанта в тыл, командование ротой принял командир первого взвода, и в это самое неподходящее время пошли автоматчики. Лопочут, что-то кричат, стреляют так, что спасения ждать не приходится, всем кажется, что нас обошли, стрельба в тылу идет. Замешательство получилось, кто-то

назад побежал, а остановить некому, и все драпанули.

Выбежали на какую-то поляну — там две подводы. На одной сухари в мешках, на другой — патроны, гранаты и пара «максимов». Кто-то на сухари накинудся, но большинство стали патронами и гранатами запасаться, пулеметчики «максимы» к бою готовить, и в это время появился он! Высокий, чисто выбритый, в длинной артиллерийской шинели, с трофейным автоматом на груди. В жизни не видел таких по-настоящему красивых военных людей! Лицо крупное, волевое, голос — заслушаться можно, а не подчиниться — не выйдет. Артиллерийский капитан обложил нас трехэтажным матом, в считанные минуты восстановил дисциплину и кромкой леса повел к дороге, что шла из города.

Дошли, а по ней уже немецкая пехота в Калугу спешит, машины, мотоциклы туда же несутся. Капитан приказал залечь и ждать разрыва в колоннах. Дождались. Проскочили. Идем, бежим дальше. Выбежали к лесхозу. Несколько сараев, складов, дом вроде конторы или сторожки. Людей не видно. Рядом с капитаном я почувствовал себя увереннее и безопаснее и все время держался поблизости от него — слабый всегда к сильному тянется. Он меня приметил и с тремя бойцами послал к лесхозу, выяснить, не заняли ли его немцы. Я и рад-радешенек, понесся впереди всех. Сарай оказались пустыми, в конторе тоже никого, окна все выбиты, двери распахнуты. Получалось, что были уже здесь немцы.

Дальше пошли. По буграм (Калуга на возвышенности стоит) танки немецкие в город поднимаются. Удивляемся, что они такую крутизну преодолевают, радуемся, что на нашем пути они не оказались, и надеемся, что выйдем из окружения.

Километра два прошли, видим, немцы против нас пушку разворачивают, стрелять собираются. Капитан приказывает: «Ты, ты и ты, вперед! Пушку ликвидировать гранатами!» А мне он уже так понравился, я в него

так поверил, что даже не подумал о том, как мы можем подобраться к этой пушчонке по открытому месту. Шинель скинул, чтобы легче было бежать, ремень каски потуже затянул, гранату в правую руку, карабин в левую и вперед на своих быстрых футбольных ножках. — Лицо моего соседа на миг посветлело, губы тронула улыбка. — Мой отец столяром был, лыжи мне рано сделал, и гонял я на них! В техникуме футболом увлекся — в то время, помните, не то что техникум, каждая улица свою команду имела. У меня левая нога опорная, играл я крайним левым, был капитаном команды. Бегал быстро. Прорвусь, перед воротами крутанусь, был у меня такой излюбленный приемчик, и бью. Получалось. В армии служил — тоже играл, физкультурой всегда занимался. После войны футбол пришлось забросить, на лыжах недавно перестал ходить, а плаваю до сих пор. Так вот... На чем я остановился? Да, бежали мы поймой, на ней кочки всюду, и сначала я подумал, что упал потому, что запнулся. Протягиваю руки, чтобы опереться и вскочить, а правой нет, совсем нет, из оборванного рукава гимнастерки кровь хлещет.

Голова тоже в крови. Тянусь левой рукой и не нащупываю каски — видно, сорвало большим осколком или маленьким перерезало ремешок. Как и чем меня так разнесло? Сотни раз прокручивал разные варианты и пришел к такому: руку оторвало разрывной пулей или осколком, она отлетела вместе с зажатой в пальцах гранатой, потом взорвалась граната, и тогда, уже лежащего, дополнительно ранило в голову, правое плечо и в руку. Может, и не так все было, может, снаряд сразу покалечил несколькими осколками, или все ранения от разрыва гранаты, в которую могла попасть пуля, черт его знает.

Оглянулся — сотоварищей моих не видать. То ли побило, то ли назад убежали. А я уже как бы не жилец. Немцы увидят — пристрелят, если до них кровью

не изойду. Вы с какого года воевать начали?
— С лета сорок второго.

— Не знаю, как потом было, а нам говорили, что в случае чего комсомольский билет должен быть уничтожен. Я вспомнил об этом, едва в себя пришел. Достал его, соображаю, что могу сделать. Зарыть в землю? Могут найти. Сжечь? Одной левой спички не приходилось зажигать. Порвать? Как, как порвать? Выдрал зубами листки, стал жевать — читал где-то о таком способе уничтожения документов. Под конец каблуками разрыл землю, выкопал ямку и зарыл корочки билета.

Только с этим делом покончил, увидел немецкий танк. Бежать от него по чистому полю бесполезно, спрятаться некуда. Я даже ложиться не стал. Сижу, смотрю на него и как-то спокойненько думаю: вот сейчас даст очередь или повернет, раздавит гусеницами, все и кончится. И знаете, какое-то даже облегчение от такой простой мысли почувствовал. Танк же прошел мимо. Думаю, танкисты решили, что я и без них сдохну.

А мне что делать? Приподнялся, встал на ноги и пошел на восток за танком. Вышел к какой-то проселочной дороге. И немцы по ней идут и наши. Засмотрелся я на такое чудо, споткнулся, упал, а подниматься не стал. Лежу, смотрю, как люди идут. Несколько немцев ко мне подходили, что-то спрашивали. Каждый раз ждал, что пристрелят, а они посмотрят на меня, покачают головами и дальше. Потом от большой, дружно идущей группы наших отделился и подошел пожилой человек в черном пальто с маленьким каракулевым воротничком, в каракулевой же, пирожком, шапочке. Русоволосый, небритый, лицо белое и крупное, на носу пенсне, на боку сумка изпод противогаза. Я его хорошо запомнил и сейчас, как живого, вижу. Он присел на корточки, достал из сумки полотенце, поморщился: «Грязное, но другого нет. Перевяжу им на всякий случай». Разорвал полотенце вдоль, сначала туго перетянул обрубок, потом плечо и руку

бинтовать начал. Все это делал на глазах немцев, а они идут себе, смотрят и посмеиваются. Мужчина рассказал, что он и другие гражданские строили оборонительные сооружения, но немцы уже далеко вперед прорвались. Я слушаю, все вижу, но сам будто в полусне каком. Жар во мне словно бы тугими волнами разливается, во рту пожар горит. Спрашиваю, нет ли у него воды? Нет, говорит, но тут недалеко речка протекает. Если хотите, я провожу вас до нее.

Пока шли к реке, пошел снег. Крупный такой, пушистый. Ловлю его языком, глотаю, а воду увидел, чуть с ума не сошел. Сполз с обрыва и — к реке. Вот она, перед глазами плещется, а как пить? Спрашиваю мужчину, нет ли у него кружки? «Извините, пожалуйста, не имею, — отвечает и тут же кричит: — Что вы делаете? Вы же простудитесь!» Поздно. Я уже по колено в воде. Иду дальше, вода под грудь подходит. Наконец-то! Наклоняюсь! Пью!

Правее меня вода плеснулась, в глаза попала. Не успел проморгаться, слева брызги полетели. Подумал, что мужчина камешки бросает, сигнал подает, чтобы быстрее из холодной воды выбирался. Оглянулся — недалеко от него два молодых немецких офицера в шинелях. Один стреляет из пистолета, второй фотографирует, а другой рукой подталкивает стреляющего, не давая прицелиться. Оба смеются — у меня левая рука и правая культяпка вверх подняты, я вроде бы сдаюсь. Ах, думаю, сволочи вы разэтакие! Опускаю руки, разворачиваюсь и иду прямо на них. Смеются. Фотограф еще несколько снимков сделал, помахал рукой, и они ушли.

Я на берег вышел, а подняться на обрыв не могу — перехватиться-то нечем. Мужчина потянул было меня за руку, но слаб оказался. Спустился вниз. С его загорбка я кое-как вскарабкался. Не он, так на реке бы, пожалуй, и замерз — снег совсем густой повалил, холодно стало.

Сосед умолк. Воспользовавшись паузой, я спросил:

— Вы не помните, какого это числа было?

— Как это не помню? Двенадцатого октября. Наши еще за город дрались, а тринадцатого оставили. Другой год замотаюсь, так Клава под бок толкнет — не забыл, какой день сегодня? О, уже половину пути проехали — в разговорах-то время летит быстро, — пожалел он и продолжал: — Мужчина сказал, что километрах в двух стоит смолокурня, недалеко от нее рабочий поселок, и в нем медпункт. «Вас нужно обязательно перевязать как следует. И противостолбнячный укол сделать. Возможно, фельдшер хоть как-то почистит раны». Пошли туда. Думаю, что дошли не очень быстро, как кажется сегодня, — я несколько суток не спал, ел последний раз перед Калугой. Несмотря на «купание», меня снова донимал жар, я мечтал о глотке, о капле воды.

В доме, куда мы зашли, была одна комната с большой русской печью. У окна сидел древний старик, с печи выглядывала не менее древняя старуха. У дверей стояла деревянная лохань, над ней на цепочке висел чайник. Я сообразил, что он заменяет умывальник, вцепился губами в его носок, но чайник был пуст. «Нет у нас воды, милый. Ни капельки», — прошепелявил дед. «Как это нет, а колодец?» Колодец с журавлем, его нельзя было не заметить во дворе. «Ночью наша конница проходила, все до донушка вычерпали. К вечеру разве что наберется»...

Он замолчал и отвернулся к окну. Я не торопил соседа и радовался, что никто не слышит его, кроме меня, не вмешивается и не перебивает торопливыми и ненужными вопросами. Автобус спускался с перевала. Все чаще попадались покрытые льдом участки дороги, и шофер до предела сбавлял скорость.

— Потом в дом вошли два солдата, — продолжал он глухим голосом, — скользнули глазами по старикам, по мне, что-то гаркнули и уставились на мужчину. Он выдержал их взгляды спокойно. Солдаты махнули авто-

матами на дверь. Я бросился к ним: «Меня возьмите, меня. Он гражданский. Военный я, я!» Еще что-то кричал им, не сознавая, что они прекрасно разбираются, кто здесь военный, кто гражданский, и у них есть какие-то свои планы. Не обращая на меня внимания, солдаты подтолкнули мужчину к двери. От резкого толчка шапочка с его головы слетела, обнажив длинные русые волосы. Поднимать ее он не стал, взглянул на меня, сказал: «Прощайте! Больше, к сожалению, я ничем не могу помочь вам», провел рукой по лицу, будто умываясь, и вышел. Немцы последовали за ним... Можете вы объяснить, почему солдаты увели его, а не меня? И я не могу.

Я ждал автоматных очередей, но они не раздались, и всю жизнь тешу себя надеждой, что моего спасителя все-таки не расстреляли. До сих пор отчетливо помню его лицо, длинное зимнее пальто, маленький воротничок на нем, старые стоптанные ботинки. Довелось бы встретиться, узнал бы сразу, по одному голосу узнал — говорят, он не меняется.

За окном продолжал валить густой снег. Я сидел в промокшей одежде, в одной гимнастёрчке, и меня начало познабливать. Попросил старичка посадить на печку. «Что ты, милый? Не цыпленку поднимать петуха. Потерпи немного — схожу за соседями».

Вернулся старичок скоро, привел мужчину и женщину, тридцати пяти — сорока лет. Одеты по-городскому. Она в демисезонном пальто, русая. Он брюнет. Серое полупальто, модная перед войной «москвичка» распахнута настежь. Они разорвали принесенную с собой простыню, перебинтовали все раны и уложили на матрас. Обещали привести фельдшера, но пришли лишь утром. Сказали, что фельдшерский пункт разрушен, ни одного медработника найти не могли, еще раз всего перебинтовали, натянули на меня тоже модную в то время темно-коричневую коверкотовую куртку, а дальнейшей судьбой распорядились так: «Придет сын Сережа и отведет к

нашим родственникам. Они живут за городом, немцев там не должно быть. Если найдем фельдшера, приведем туда».

Сережа, светленький такой мальчонка лет десяти — двенадцати, тоже всю дорогу утешал. Шел слева, чтобы на оторванную руку не смотреть и не задеть нечаянно. На нашем пути оказалась та речка, из которой я вчера пил, и только тут до меня дошло, что пушка, которую мы бежали уничтожать, стояла на другом берегу, и потому приказ капитана был абсолютно невыполнимым. Сообразил, но не расстроился — капитан мог не знать об этом, возможно, он посылал нас для того, чтобы отвлечь хоть на какое-то время внимание пушкарей и спасти всю группу, которую надеялся вывести из окружения. Да и что вспоминать минувший день, если не знаешь, что тебе готовит нынешний.

Речку мы перешли по узенькому мостику из жердочек. Скоро показалась водокачка, недалеко от нее стояли несколько домиков, выкрашенных в желтый цвет. Сережа пошел на переговоры, а я присел на бревно у палисадника. Мальчика не было долго. Вернулся расстроенным: «Не принимают! Немцы охраняют водокачку и предупредили, чтобы посторонних в домах не было. Узнают — расстрел». Говорит это, а сам слезы утирает и на меня смотрит так, словно провинился в чем-то. Из дома к нам никто не вышел, постучали только в окно и помахали руками, чтобы мы поскорее убирались. Настала моя очередь утешительством заниматься. «Не переживай, Сережа. Если такое дело, я и сам не пойду, чтобы людей не подводить». Поблагодарил парнишку, поцеловал на прощанье, отправил домой и рассуждаю: «После ранения вторые сутки идут. Скоро кончусь, если какого-нибудь медработника не найду. Придется в город идти».

Вышел на плато и по нему пошел в Калугу. Что там творилось, если бы вы видели! Кто мешки тащит, кто ящики, кто на тачках что-то везет. Пока немцы все к

рукам не прибрали, люди растаскивали магазины и склады. Мародерство, скажете? Думаю, что в данной ситуации нет. Не отдавать же врагу все тепленьким.

Спросил женщину, как найти хоть какое-нибудь медицинское учреждение. Объяснила. Пошел дальше. А сил-то нет. Увидел большое двухэтажное здание и решил, что это больница. Оказалось — клуб. Все равно зашел. В вестибюле солома навалена, на ней и мертвые лежат, и трое живых. Рассказали, что в клубе был медсанбат. Эвакуировался. За ними обещали приехать, но, видно, не успели.

Чувствую, что мне уже ни до какой больницы не дойти, может, слабинку себе дал, но решил остаться вместе с красноармейцами, а там будь что будет. Подгреб под них своими футбольными ножками побольше соломы. себе ворох сделал, залез в него и заснул или сознание потерял, не знаю. Очнулся утром, попытался заговорить с ранеными — не отвечают. Умерли. Хотел подняться, чтобы искать все-таки больницу. Не смог. Ну, думаю, все! Отстрадался! Загнусь здесь так же, как и соседи. Лежу и ни о чем уже не думаю, от всех земных дел как бы отстраненный. Страху никакого, боли не чувствую. Сколько так пролежал, не знаю, вдруг вижу, по лестнице спускаются немцы. Один с бритвенным прибором, другой на губной гармошке наигрывает. Посмотрели и вышли на улицу. Мне на них наплевать — я жду, когда меня смерть примет. Они возвращаются. С ними две женщины. Немцы показывают им, где взять носилки. Женщины укладывают меня на них, уносят через дорогу в барак, сами куда-то уходят.

Часа через два приводят врача. Она сделала укол, сняла повязки, снова перевязала. Говорю ей, что идут третьи сутки после ранения, нужно операцию делать. «Знаю, дорогой мой, но нашу поликлинику растащили, даже бинтов не осталось и хирургов нет — с армией ушли». Пожала меня, посочувствовала и ушла, а я опять отключился.

Пришел в себя в полдень следующего дня. Женщины везли меня куда-то на телеге по булыжной мостовой — от тряски, наверно, и в себя пришел. Спросил, куда везут? «В Хлюстинскую больницу, — ответили, — там вам операцию сделают. Мы договорились».

Так и получилось. Часа два лежал в коридоре, потом понесли в операционную. Запомнил хирурга-мужчину, сестру, а что они со мной делали, под каким наркозом проходила операция или без него, ничего не помню. Очнулся вечером, в палате. В ней несколько коек для тяжелых, остальные на полу. Осмотрелся — положили рядышком с моим ротным. Чего-чего, а этого не ожидал, надеялся, что его успели вывезти. «Меня сразу сюда доставили, — пояснил он, — а вот ты-то как здесь оказался?» Рассказал ему свою историю, от него узнал, что в больнице лежат и те, которые были ранены до захвата города, и попавшие в окружение. Медперсонал гражданский, есть несколько военных специалистов. «Все лежащие, что ли? Никто не поднимается и не ходит?» — спросил его. Он взглянул на мою культяпку, поморщился и сказал, отводя глаза: «И ты не будешь ходить, хотя у тебя ноги целые. Все здесь помрем, если скоро не освободят».

Ротный был прав: кружка какой-то мутной похлебки, кусочек неизвестно из чего испеченного хлеба не больше спичечного коробка, разве это питание для обессиленных потерей крови людей? А я и этого есть не мог. В первую неделю женщины, которые привезли меня в больницу, несколько раз приносили капусту, картошку, свеклу, но не мог и кусочка проглотить. Лежал, прислушивался к фронту — все ждал, что он повернет назад. Не повернул. Надежды на скорое освобождение не стало. На жизнь — тоже.

Шла вторая половина октября. Помните, какое это было тяжелое время? А немцы ходили веселые, уверенные, что со дня на день возьмут Москву.

А наши «дядьки» — так мы звали приставленных для ухода за ранеными добровольно сдавшихся молодых бойцов — хуже немцев были: им выслуживаться приходилось, они и старались. По утрам аккуратненько навещали нас. Увидят мертвых — за ноги и на улицу. Кто не понравится — живого выволокут, чтобы мороз добил. Хвастались: «Вот вы, верные и правоверные, передохнете здесь все, а нам немцы после взятия Москвы паспорта дадут, и поедем мы дожинок, наделы получим и заживем, как у Христа за пазухой». К вечеру всегда пьяные. Ржут, песни распевают. Как вспомню, что они с нами вытворяли, у меня в спине как-то нехорошо делается, меня словно кто в узелок начинает завязывать. Снова свою палату вижу. Всех мертвых, которых за ноги по полу, по телам еще живых, вытаскивали на улицу.

Хорошо помню обгорелого летчика. Его притащили в палату после допроса. На лейтенанта даже нам было страшно смотреть, от его лица даже «дядьки» глаза отводили, но на другой день выбросили на мороз.

Помню грузного и седого полковника. Его ординарец ранен не был, но эвакуировать своего командира не смог и остался при нем. Дней через пять забрали их на допрос, и больше я не видел ни того, ни другого.

Мой командир роты тоже долго не продержался. Утром написал письмо жене, попросил отправить, если выживу. Ночью умер.

Эту просьбу командира роты, нужно сказать, я выполнил: и письмо его сохранил, и отправил в город Южа Ивановской области, а оставить себе адресок не догадался. На карте сколько раз этот город находил, хотел съездить, поискать жену, детей старшего лейтенанта, но как это сделать, если имя и отчество его не знал, а фамилию забыл? Вспоминаю разные, но ни в одной не уверен. Из-за меня он, наверно, до сих пор числится в списках пропавших без вести...

— В декабре,— продолжал сосед после короткой паузы,— наши разбомбили элеватор, а зерно горит долго, оно, думаю, и спасло тех, кому было суждено в этом аду выжить. Хлеб из зерна пекли, похлебку варили... «Больница. В больницу, в палату»,— говорю так, потому что лежали мы в здании больницы, а там была настоящая душегубка. Помните, какие морозы стояли в ноябре и декабре сорок первого? Думаете, наше здание хоть как-то отапливалось? Ни дня! В комнате «дядьков» буржуйка, конечно, была. В нашей — куржак на стенах, он же и с потолка в глаза сыпался.

Меня как принесли в палату, свалили на солому, так я больше и не поднимался. А что на мне? Курточка, родителями Сережи подаренная, да какое-то тряпье, принесенное теми женщинами, которые привезли меня в больницу. До сих пор помню свои почему-то толстые и громадные коленки. Мы дошли до того, что игру на выживание придумали... Может, и не надо об этом, но из песни слова не выкинешь, и уж если начал, так надо до конца. Я уже упоминал, что умирали чаще всего ночью, поэтому пари мы заключали вечером: кто до утра дотянет, тому пайка умершего. Его кончину еще день-два скрывали от «дядьков». Сейчас сытые люди нашу игру могут посчитать и безнравственной, но у нас все по-честному было: никто не мог знать, проснется ли он утром, право на лишнюю пайку у спорящих было абсолютно одинаковым, и, если уж совсем честно, заключая пари, мы желали себе тихой смерти в эту ночь — она прекращала бесплодные мучения,— а мизерная пайка не избавляла ни от голода, ни от холода, ни от смерти на следующий день.

— Хоть какая-то, пусть самая маленькая, надежда у вас все-таки была? — не удержался я.

— Никакой,— не задумываясь, ответил сосед.— И как ей быть, если бои отодвинулись к черту на кулички, в больнице — ни лекарств, ни перевязочных материалов,

а о том, что немцам не удалось взять Москву, мы не знали. В декабре дошли слухи о нашем наступлении, но как оно пойдет, на каком направлении разовьется успех, тоже было неизвестно.

И еще мы понимали, что даже при скором освобождении, при настоящем уходе и хорошем питании и то нас поздно поднимать.

Он посмотрел в окно:

— Алушта скоро. Придется сокращаться, поэтому о других наших бедах рассказывать не буду. Послушайте, что произошло дальше. Теперь, наверно, никто не объяснит, как оставшиеся жить в такой антисанитарии, в голоде и холоде продержались до конца декабря. В это время ожил фронт, стал приближаться.

Настал день, и больницу посетила какая-то комиссия. Человек пятнадцать. Прошлись по палатам, покрутили носами и ушли. И сразу слух — больницу будут взрывать. Вместе с нами.

В ночь на тридцатое декабря начался сильный обстрел — у нас стекла повывлетали, потом стала слышна пулеметная стрельба. Мы ждали взрыва, но немцам, видимо, было не до нас. Не взорвали, а утром в палату ворвались наши, в шапках со звездочками, в полушубках, с автоматами на груди. Ворвались и застыли, увидев нас. И мы ни встать, ни слова сказать не в силах. Я своих автоматчиков только на какой-то миг увидел, что-то крикнул, скорее всего, хотел крикнуть, а на самом деле только простонал. Вот тут надежда на жизнь появилась, я поверил, что и Клаву свою увижу, и сына, и второго ребенка, который должен был уже родиться... Этот день — на всю жизнь, да он и может быть всего один, потому что второго не выдержать — разорвется сердце.

Через несколько часов появились врачи, сестры, санитарки. Выбитые окна застеклили, в палатах навели чистоту, нас стали мыть, скоблить, раны осматривать

и перевязывать. Какой-то фронтовой госпиталь занял больницу, и за несколько дней в ней воцарился такой порядок, что мы будто в раю оказались. Чуть отошли, нами занялся особый отдел. По одному уносили в отдельную комнату: в какой части служил, как попал в плен, кто лежал из командиров, где они, как относился к раненым персонал, фамилии предателей и полицаяев, где они?

Кормили осторожно, с ложечки, можно сказать, но, думаю, опыта по восстановлению дистрофиков не было, и начался понос. С ним — в изолятор, и больше этот человек не возвращался. Меня как-то и эта участь миновала. К концу января прошли пролежни, стал подниматься, даже ходить. Выздоровливающих погрузили в санитарный поезд и повезли в тыл. Но судьба приготовила нам еще одно испытание — бомбежку эшелона. Он сгорел. Я успел выбраться из вагона, отбежать, укрыться в канаве. Оставшихся живыми собрали в ближайшей деревне, согрели и повезли в Москву, оттуда в Сарапул, — сосед на минуту умолк, его глаза неожиданно заблестели, лицо озарила улыбка: — Знаете, что я там творил? Сейчас сам себе не верю, но было же такое, было! Махорку на спор у двуруких выигрывал! Тут так дело происходило. Садимся за стол друг против друга. За спинами устраиваются болельщики и судьи. Бумажки нарезаны, махорка в кучках лежит. Крутили сигарки-то? Двурукие как ее свертывают? Одной рукой бумажку берут, другой насыпают махорку, разравнивают, двумя руками ко рту подносят, чтобы заклеить. Сколько на все эти операции времени уходит? А я сыпану, одним движением пальца выровняю, одним же движением, сейчас ни в жизнь так не сделать, крутану — такой приемчик у меня был отработан — и ко рту. Иногда, конечно, не получалось, табак просыпался. Не очень часто, поэтому спорить со мной боялись, однако и азарт брал — как однорукого в таком простом деле не обогнать? Всех своей махоркой обеспечивал. Пустяшное в общем-то

дело, а для меня оно большое значение имело — поверил, что с одной рукой проживу не хуже, чем с двумя, человеком просто себя почувствовал, по-другому о жизни стал думать.

А в середине апреля выписался я из госпиталя и отправился домой. Вот, собственно, и все.

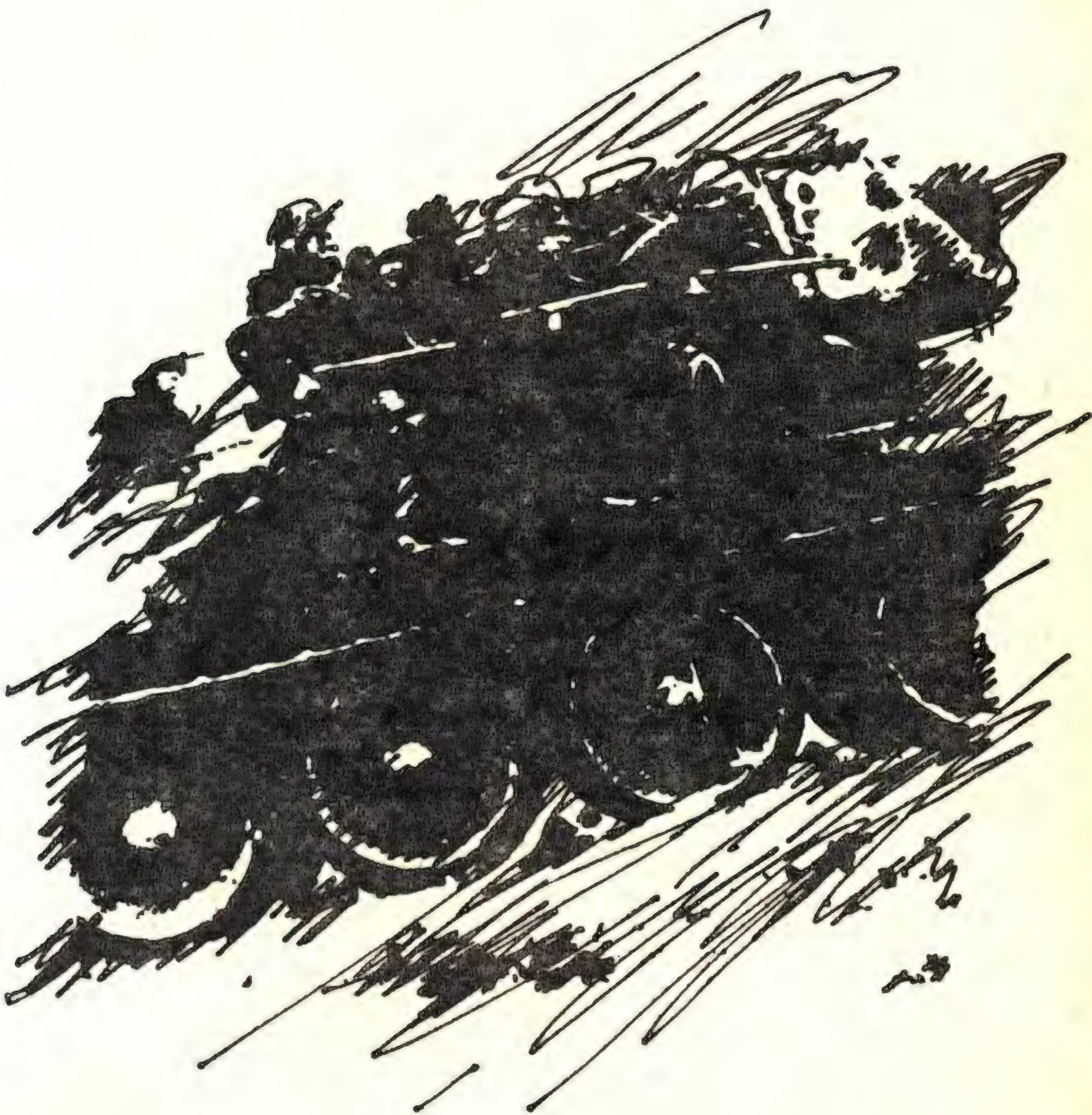
Впереди показался Гурзуф. Сосед встал, пожал мне руку и сказал:

— Стрельников я, Анатолий Аркадьевич, сразу мы как-то не представились... Запишите мой адрес и телефон. Устройтесь в санатории, обоснуетесь, и приезжайте — буду рад!

Я попытался подать Анатолию Аркадьевичу сумку.

— Что вы! Я сам, — удивился он. Легко подхватил свой багаж, спрыгнул на землю и помахал на прощанье своей единственной левой.

Тихая оборона



Я не видел его тридцать пять лет. Не знал, жив ли он. И на фронте мы встречались от случая к случаю, когда полк выводили с передовой на учения или перебрасывали на другой участок обороны. А фамилию помнил, помнил его легкую, хотя и чуть вперевалочку, походку, крепко сбитую фигуру, выдававшую недюжинную силу, широкое лицо, нос пуговкой, быстрые, все подмечающие глаза и характерную скороговорку.

Я помнил его хорошо, будто мы расстались совсем недавно, и потому на встрече ветеранов нашей 225-й Краснознаменной Новгородской ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии, едва увидел его, узнал сразу.

— Вы командир шестой роты Евдокимов, да?

— Евдокимов, — подтвердил он. — А вы кто?

Я назвал себя. Он начал вспоминать, но безуспешно, а я тем временем разглядел на его пиджаке орден Александра Невского.

— Разве командиров рот награждали такими орденами?

Он улыбнулся совсем так, как улыбался раньше:

— После ранения в сорок четвертом я попал в 53-ю Краснознаменную гвардейскую дивизию. Там доверили батальон.

Потом, уже в письме, он радостно сообщал, что вспомнил наконец-то, каким был и я три с половиной десятилетия назад. Были новые встречи в Москве, где он живет,

и в Новгороде, были письма и поздравительные открытки...

Ночь началась, как всегда. Привычно посвистывали над брустверами пули, шлепками бились в дерновые стены траншей. Привычно высвечивали испанцы нейтральную полосу ракетами (против полка в обороне стояла «Голубая дивизия» генерала Франко), и тогда на несколько секунд пропадало усыпанное бледными звездами небо, на излете ракет косо неслись к земле тени деревьев. Пользуясь хорошей погодой, над передовой то и дело пролетали ночные бомбардировщики. В близком тылу врага они выключали моторы, какое-то время планировали, выискивая цели, и сбрасывали бомбы.

Ночное время самое подходящее для разведки и самое тревожное для часовых. Поэтому и не спят командиры взводов, рот и батальонов, ходят от точки к точке, проверяют, хорошо ли несут службу бойцы, будят заснувших и дают разгон за притупление бдительности — бывает и такое.

Утром на землю пал туман, густой и непроглядный. Снова пришлось не спускать глаз с ничейной земли. Успокоились после того, как показалось солнце.

Принесли завтрак. Скинули сапоги, брюки, чтобы подсушить их на солнце, — после вчерашнего дождя в траншеях стояла вода, все перемазались и перемокли за ночь.

Тихо было. Начало припекать солнце. На передовой ни одного выстрела. В дзоте только о чем-то спор пошел. Часовой пулеметчиков просунулся в дверь, чтобы узнать, из-за чего сыр-бор разгорелся, и получил нож в спину.

Группа захвата испанцев бесшумно прирезала еще двоих. Третий, красноармеец Внуков, оказал сопротивление. В схватке его подкололи, да сильнее, чем хотели: «язык» был нужен живой, свеженький, а тут, чего доброго,

и мертвяка принести можно. Раненого перетащили через бруствер, оставили с ним охрану, а сами двинулись за более надежным пленным — первый успех окрылил, решили и дальше по-тихому сработать.

У соседнего дзота в траншее сушились портянки и брюки, на палках подметками к небу торчали сапоги. Часовой был на месте, но следил за нейтральной полосой и нападения с тыла не ожидал.

На передовой, пока война на подъем идет и конца ей не видно, остаться живым и невредимым надежды мало. Люди привыкают к этой мысли быстро, и она кажется единственно верной. Больше другое гнетет: как бы живым или раненым в плен не угодить. Пытать ведь начнут сволочи, нужные им сведения из тебя выбивать и вдруг замучают до того, что язык сам собой развяжется.

Такие именно мысли пронзили тихого и спокойного красноармейца Леонова, когда он, почуяв недоброе, оглянулся и наткнулся глазами на крадущихся к нему испанцев. От охватившего его ужаса Леонов забыл о винтовке, о гранатах на поясе, взвыл благим матом и в два прыжка оказался в дзоте:

— Товарищ лейтенант! Немцы! — Леонов, как и все, не видел большого различия между немцами и солдатами «Голубой дивизии».

Первым выбегая из дзота, Евдокимов был уверен, что испанцы на нейтральной полосе, еще только подбираются к передовой. Нейтралка, однако, оказалась пустой, а позади лейтенанта по траншее хлестнула автоматная очередь — вражеские разведчики загоняли в дзот выскочившего вслед за Евдокимовым сержанта Крылова.

Лейтенант успел добежать до ниши, где хранились боеприпасы, успел схватить винтовку, но развернуться с ней ему не дали. С тыльной стороны траншеи на него прыгнул испанец, сбил с ног, и оба оказались на дне траншеи, в луже. Пока барахтались, в траншею запрыгнули еще

двое. Трое против одного! Он рванулся в одну сторону и сразу же в другую, на секунду выскользнул из их рук, нанес несколько ударов, каким-то образом умудрился сесть, вдавиться спиной в одну стенку траншеи и ногами, намертво, в другую. Его схватили за волосы, стали тянуть. Потная рука соскользнула с коротких, не успевших отрасти после училища волос. Снова схватили.

Уже работал пулемет его дзота, вел огонь по нейтральной полосе ручной пулемет сержантов Комолова и Кудряшова, соседей слева. Испанцы спешили и все-таки щадили его, он был нужен им живой и невредимый — лейтенант с двумя кубарями в петлицах. Евдокимов сопротивлялся молча — верил, что отобьется, что его не утащат. Удачно подцепил локтем по скуле одного, другого пнул в живот. Тот охнул, согнулся, но тут же распрямился и в бешенстве ударил кулаками по голове. Тело лейтенанта обмякло, ноги потеряли упор, согнулись. Испанцы склонились над ним, чтобы поднять, перекинуть через бруствер, и в этот момент пришло спасение — рядом с клубком тел взорвалась граната. Ее бросил пробившийся из дзота сержант Крылов. Двое разведчиков были убиты. Третий, раненый, перепрыгнул через бруствер и попал под пулеметную очередь.

На глазах изумленного Крылова лейтенант зашевелился, столкнул с себя трупы, поднялся и, очумело потряхивая головой, пошел к дзоту. Вид его был страшен. Лейтенант схватил Крылова за плечи, прижал к себе и прошептал:

— Спасибо тебе! Молодец!

— Да я что, — засуетился Крылов, — я что? Вижу, берут вас и подумал: чем мучения там, лучше смерть здесь. Извините, товарищ лейтенант! Вы не ранены?

— Вроде бы нет... Голова только гудит. Тащи один пулемет сюда — надо проучить этих сволочей.

Уже ошетинились огнем обе обороны. Все заволочло дымом. Но хорош короткий танковый «дегтярь» для ве-

дения боя из узких траншей, и бегал по ним лейтенант, выискивая просветы, чтобы лучше видеть нейтральную полосу, и стрелял, пока не столкнулся лицом к лицу с командиром роты Демьянюком. Хотел перед докладом гимнастерку заправить и вспомнил, что он босиком, без брюк и без ремня. Оглянулся в растерянности — с другой стороны подходил комиссар батальона капитан Щукин.

Евдокимов не знал, как докладывать, оказавшись перед начальством в таком виде, не знал, что делать со своими большими, в крови и грязи руками, с пальцами ног, которые почему-то непроизвольно сгибались и разгибались, а остановить эти нелепые движения он был не в силах. Он видел, как подрагивает разделенный надвое глубокой ямочкой подбородок комиссара, как ковыряет сырую землю носком сапога ротный Демьянюк. Все это чувствовал, понимал, видел Евдокимов, но что делать, не знал. Выход из положения нашел комиссар:

— Пойдем-ка, Демьянюк, до станкового, пока лейтенант приведет себя в порядок. Потом он нам все и расскажет.

Все бросились одеваться и только тут обнаружили исчезновение красноармейцев Белозерова и Гайматулина. Сапоги и брюки — на месте, а бойцов не было.

— Неужели уволокли? — ахнул лейтенант.

— Не должно быть — они же в дзоте находились. В тыл, поди, сбежали? — неуверенно произнес сержант Крылов.

«А если не в тыл?» От этой мысли такая тяжесть навалилась на Евдокимова, что он долго стоял с ремнем в руке, не зная, надевать его или нет. Поведут его отсюда без ремня, потом трибунал, штрафная рота. И есть за что: испанцы застали врасплох, сам чуть не угодил в плен...

Траншеи осваивали полковые разведчики. Они опробовали станковый пулемет, пронесли до повозки раненого Внукова — его отбил у испанцев ординарец коман-

дира роты Михалев, ползали по ничейной земле с надеждой найти там раненых испанцев.

Крылов и Леонов, посланные на поиски исчезнувших, вернулись ни с чем:

— Кричали, звали их — не откликнулись. Видать, далеко сиганули, — доложил Крылов и предупредил: — Комиссар идет!

Евдокимов хотел рассказать о ЧП в конце доклада, но, семь бед — один ответ, выпалил о нем сразу.

— Как исчезли? Куда? — дернул подбородком комиссар, и лицо его напряглось в ожидании.

— Думаю, товарищ капитан, в тыл...

— Думаю! Разведчиков ко мне, — зло бросил Щукин и, когда те вытянулись перед ним, приказал: — Тут двое пятки смазали. Найдете?

— Найдем, товарищ капитан, — бодро заверил старший сержант-разведчик. — Есть два босых следа! — крикнул он через минуту.

Щукин взглянул на Евдокимова:

— Рассказывай дальше, но подробнее и без вранья. Понял?

Лейтенант не собирался врать и раньше, но после такого предупреждения смешался. Начал медленно, с запинками, обдумывая каждое слово, чтобы не сказать того, что нельзя подтвердить, но увлекся, как увлекается каждый после только что закончившегося боя, начал махать руками, изображать все в лицах, в действии. Лицо комиссара постепенно разглаживалось, добрело. Демьянюк и совсем подбадривал его взглядом. Щукин подвел итог:

— Разведку прохлопали все! Ну, а за то, что отбиться сумели и испанцев много положили, спасибо! Дезертиров — в полк, будут отвечать перед трибуналом, — приказал подошедшему командиру разведки. — Товарищей бросили в критический момент, командира! — За молчал, сдерживая готовую прорваться ярость, и продол-

жал уже спокойно и будто советуясь с Демьянюком: — Кое-кто, по-моему, заслуживает поощрения. Вот так! — громко сказал комиссар, утверждаясь в принятом решении. — С вами же, — повернулся к командиру пулеметчиков Бондаренко, — разговор будет особый.

Рассказывая об этой схватке с вражескими разведчиками, дивизионная газета писала: «Потеряв до двадцати убитых и раненых, испанцы бежали с поля боя... — и далее: — За мужество и отвагу командование объявило благодарность лейтенанту Евдокимову, сержантам Крылову и Комолову, красноармейцам Болотину, Дорони-ну, Михалеву и Кудряшову».

Четверо из них — Михалев, Крылов, Комолов и лейтенант Иван Евдокимов — чуть позднее были награждены медалями «За отвагу!».

На фронт Иван Евдокимов попал в начале мая сорок второго года, но война обожгла его еще в первую военную осень, еще на гражданке, когда он работал механиком на одном подмосковном заводе, а ночами дежурил на крыше производственного цеха и сбрасывал оттуда зажигательные бомбы, зажигалки, как окрестили их бойцы объектовой дружины. Дело это нехитрое и не особенно страшное, пока не появились зажигалки с сюрпризами — с гранатами, которые рвались, накаляясь в адской зажигательной смеси. Тут уж малейшее промедление смерти подобно. Однако он пострадал не от гранаты и не на крыше, а в подвале, где рвались и горели бутылки с бензином. Огнетушители оказались под рукой, и он боролся с огнем до приезда пожарных команд. Обгорел он тогда сильно, особенно лицо и руки. В подвал вбежал на своих двоих, оттуда вынесли на носилках, погрузили в санитарную машину. Месяц после этого его поджаривало, как на углях.

Еще не успел поправиться как следует, пришла повестка. Красненькая — на призыв. Семнадцатого октяб-

ря сорок первого. Через полгода, — окончив Владимирское пехотное училище, — стал лейтенантом.

Получив на КП дивизии назначение в 299-й стрелковый полк, Евдокимов вместе с группой других вновь испеченных лейтенантов подходил к Волхову. За рекой, говорили в штабе, передовая, но боя слышно не было. Пулеметы иногда постреливали, но без азарта. Приглушенные расстоянием, их не очень длинные очереди походили на перестук молотков. Донеслось несколько взрывов. Все напряженно вытянули шеи: снаряды пристрелочные, после них начнется настоящая стрельба. Однако ничего не началось.

У переправы через Волхов контрольно-пропускной пункт. Сержант и боец проверяли документы и по одному отпускали на другую сторону по перекинутому между берегами наплавному мостику из бревен шириной не более метра и перилами с одной, левой, стороны. Вверх по течению, метрах в двадцати от мостика, с берега на берег была перекинута цепочка, в каждом звене которой по одному бревну. Это-то зачем?

— Если фриц плавающую мину пустит, то подорвет бревна, а мост целым останется, — пояснил сержант, — а по очереди вас пускаем, чтобы не побило. С аэростата, чтоб ему пусто было, все видно. Вон он над лесом висит — посмотрите.

Плавающая мина не взорвалась, и вражеская артиллерия не стала тратить снаряды на небольшую кучку русских. До КП полка добрались благополучно и здесь узнали, что дивизия держит оборону на левом берегу Волхова, отвоеванном у фашистов зимой. Дальше тогда продвинуться не смогли — немцы не пустили, сохраняя за собой шоссе и железную дорогу от Ленинграда до Новгорода. Они устроились в деревнях, на возвышенных местах, и дивизии пришлось занимать оборону там, где остановилась, чаще всего на болотах. Плацдарм невелик — километров двадцать в длину и пять-шесть в глу-

бину, но его надо держать во что бы то ни стало для будущего наступления.

На следующий день связной повел Евдокимова в 3-й батальон. Шли сначала сосновым лесом, почти таким, к какому он привык дома, потом стали попадаться березы, а когда вступили в чернолесье, едва приметная тропка исчезла, под ногами захлупала вода, кое-где она едва не захлестывала голенища, а связной, рыженький, в лихо сдвинутой набок пилотке паренек, все пер и пер, напролом, ни к чему вроде бы не приглядываясь. Как он находил дорогу — неизвестно, спрашивать — неудобно. Евдокимов начал было уже опасаться, не сбился ли уверенный связной с пути и не заведет ли он его прямохонько к немцам, как неожиданно открылась небольшая поляна с выстроившимися в один ряд землянками, где размещался КП батальона.

В тот же день лейтенант принял 3-й взвод 9-й роты, которой командовал хмурый и неразговорчивый, как показалось вначале, лейтенант Демьянюк.

— Ты будешь стоять почти на правом фланге полка, да и дивизии, но что делается за тобой, покажу ночью, а теперь пройдемся по соседям, что влево от тебя находятся. Заодно и оборону посмотришь, — сказал Демьянюк.

Подросткового роста Демьянюк сначала шел впереди и не нагибался — невысокие траншеи скрывали его полностью, — но скоро, заметив, что новенький то и дело останавливается, чтобы разглядеть вражескую оборону, пропустил его вперед и предупреждал, когда надо было прыгнуть.

В училище Иван Евдокимов командовал отделением, в котором было одиннадцать молодцов-удальцов. Став лейтенантом, получил под свое начало... четырех человек. Оружия, правда, хватало на полный взвод: ручной пулемет Дегтярева, два танковых «дегтяря», винтовки, гранаты, патроны.

Впереди, за редким кустарником, тоненькими стволами осин и ольхи со сбитыми пулеметными очередями вершинками, пучились из земли огневые точки и траншеи врага. Позади лежала вся страна, которую он, лейтенант Евдокимов, должен был защищать со своим... взводом.

Доверенный ему один-единственный дзот почему-то вышагнул вперед из обороны и был ближе всего к позициям испанцев, однако справа его надежно прикрывал огнем «максим» пулеметной роты, а слева дзот с ручным пулеметом. Держать оборону можно было. А вот правее «максима» простиралась «смерть-поляна», появляться на которой в светлое время было равносильно самоубийству. Где-то посередине ее начиналась и под прямым углом уходила к вражеским траншеям прерывистая цепочка дзотов. Последний почти упирался в подбитый немецкий танк. Фашистская оборона охватывала эту цепочку дугой. Попасть на это гиблое место можно только ночью по единственной тропке: шаг вправо, шаг влево — и взлетишь. По ней и сводил Евдокимова к ближайшим соседям командир роты лейтенант Демьянюк, чтобы узнал новый взводный особенности обороны на своем участке, ее сильные и слабые стороны.

Демьянюк появился на точке вечером и всю ночь неторопливо и негромко рассказывал, как шуршат снаряды, которые падают близко, как свистят те, которым и кланяться не надо, как ведет себя противник, как строить взаимоотношения с бойцами, посвятил в десятки других фронтовых премудростей.

— Бойцов жалеть не надо, — внушал Демьянюк, прищуривая светлые, отдающие голубизной глаза, — их любить надо. И уважать! Беречь, само собой. Вот они устали, с ног валяются, и зарываться в землю им не хочется. А ты заставь, через «не могу» заставь — потом тебе спасибо скажут. Во взводе все тебе в отцы годятся, но ты не стесняйся и дисциплину держи. Без нее и взвод погубишь, и сам без головы останешься.

Держа в памяти советы старшего, новый лейтенант стал обживать доверенную ему точку, привыкать к жизни на передовой.

После училища его сначала поражал, но скоро пришелся и по душе окопный быт, отношения между командирами и подчиненными. В училище все официально, все бегом или строевым. Подход, доклад, отход — строго по правилам, с точным соблюдением устава. Здесь строевым по болоту не зашагаешь, даже козырнуть иногда некогда, да и необходимости нет. Официальный рапорт старший по должности примет равнодушно, зато потом обо всем расспросит дотошно и заинтересованно. Приказы часто отдаются под видом практических советов, однако не выполнять их дело постыдное. Доверие порождало доверие. И уважение.

Кое-что и угнетало. Идя на фронт, он думал, что сразу получит настоящий взвод и сразу же пойдет с ним в наступление, будет бить фашистов, мстить им за свое Вельяминово. Взять его деревню немцы не смогли — помешала река Истра, сожгли дотла снарядами. Но вместо наступления попал Евдокимов на тихую оборону. Рассказать кому, так и не поверят: за два месяца один бой всего и был — с испанскими разведчиками. Потом опять все стихло.

Ночью еще на что-то похоже. Ночью фашисты палят без передыху, опасаясь русских разведчиков, а днем схватятся иногда два пулемета, прогремят одиночные выстрелы, и все. Скука-докука в светлое время суток. Вот только когда за нейтралкой обед подвозят, перепалка начинается. Как только загремят по деревянному настилу колеса телеги, так Евдокимов сам за пулемет ложится и начинает бить на звук. «Максим» часто к нему присоединяется, дзот слева. Противник отвечать начинает, иногда крики и стоны с его стороны доносятся, а потом опять тишина до наступления темноты. Такая вот оборона досталась Евдокимову — без артподготовок, без атак и

контратак, без рукопашных схваток. Спросил как-то у командира роты:

— Товарищ лейтенант, все их огневые как на ладошке. Почему не уничтожаем?

— Время еще не пришло, Евдокимов, да и снарядов у нас мало. Не до жиру.

В этих словах была горькая правда. Артиллеристы открывали огонь в редких случаях. Батарея 120-миллиметровых минометов имела лишь неприкосновенный запас и совсем не стреляла. Батальонных минометов не было. Ротные только постреливали трофейными минами из трофейных же минометов. Да что там артиллерия и минометы? Почти все вражеские солдаты вооружены автоматами, а наши красноармейцы — винтовочками образца 1891—1930 года. Вот и кричали зимой испанцы: «Рус, дай шапку — два автомата отдам». А весной: «Рус, скоро буль-буль, буль-буль». Имея в виду, что прогонят на правый берег Волхова, вышибут с плацдарма. Так-то оно так, но почему они не разбивают наши дзоты? Тоже ведь каждый на учете и внесен в схемы.

— А потому, Евдокимов, что знают: сегодня разобьют — завтра новый вырастет. Нет смысла снаряды тратить.

Демьянюк был на семь лет старше его, в армии служил с тридцать седьмого года, не раз контужен и ранен. Такого ротного, на удивление спокойного, выдержанного, никогда не повышающего голоса, поискать надо. В его присутствии Евдокимов чувствовал себя подготовкой и, так понимая свое положение и разницу между ними, дальше спорить не стал, однако не во всем и согласился.

Этот осенний день обещал быть теплым. Таким и выдался. Поднявшееся над лесом солнце светило ярко. На небе не было и облачка. К полудню воздух стал тугим и жарким. Хотелось спать, как спали, не шелохнувшись

и единым листиком, деревья. В это время он и уловил что-то недоброе в тишине на передовой. Свои иногда постреливали, а фашисты молчали. Немцы — испанцев перевели на другой участок фронта.

Демьянюк в своем недалеком КП тоже забеспокоился и послал с новым ординарцем — Михалев недавно попал под шальную ночную пулю — записку: «Будь внимателен! Что-то очень уж тихо у тебя».

А тишина продолжалась и все сильнее била по нервам. Уж не затевают ли фрицы новую разведку?

Обычно день на передовой проходит незаметно: кто спит, кто пишет письма, кому-то надо помыться, что-то починить, почистить оружие, газеты и письма принесут — опять дело есть, два раза поесть надо, глядишь, и темнота подкрадываться начинает. А этот тянулся и тянулся, еле обеда дождались. Потом Евдокимов сам прострелял нейтральную полосу. К нему присоединился «максим» и дзот слева. Немцы ответили — выходит, нет никого на ничейной земле. Взглянул на старшего сержанта Кузнецова, прибывшего во взвод вместо откомандированного Крылова. Тот махнул своей лапищей:

— Нормально, лейтенант.

— Так-то так, но бери-ка ты один танковый, побольше дисков и иди в свое логово.

Логовом он называл расщепленный березовый ствол, оставшийся после удара молнии. Пастухи в мирное время жгли подле него бесконечные ночные костры. Ствол обгорел, стал черным и, как броня, крепким. Все это учел бывший пастух Кузнецов, сам, как этот пень, крепкий, и предложил:

— На бугорке стоит — с него вся нейтралка как на ладони. Если пробить в пне амбразуру, отличная запасная получится.

— Дело говоришь, — одобрил лейтенант. — Действуй.

За несколько дней могучий Кузнецов прорубил амбразуру, выкопал окопчик, чтобы двоим в нем просторно

было, с нишами для гранат и дисков, и вот пришло время опробовать новую огневую, если немцы, конечно, решатся сунуться.

А они сунулись. Да еще как. Первые оружейные выстрелы еще были слышны, а потом — только разрывы. Один за другим. Один за другим. Без перерывов. Сплошной гул по земле пошел. Заходил ходуном дзот, посыпалась сверху земля. Из амбразуры дзота никакой видимости.

— Оставайтесь пока здесь, — приказал лейтенант бойцам, а сам, схватив второй танковый пулемет и пару дисков к нему, выбежал в траншею.

— Идут? — спросил у Леонова, стоявшего на посту правее дзота.

— Ничего не видно. Дым.

На нейтральной полосе, где-то на середине ее, перебивая друг друга, рвались тяжелые снаряды. Рассмотреть, что творилось за ними, было невозможно.

— Мины подрывают. Значит, пойдут. Увидишь что — дай знать, — прокричал на ухо Леонову и побежал на огневую по другую сторону дзота.

Огневой вал медленно приближался к траншеям. Снаряды подвывали и над головой. Эти рвались позади, где-то у КП роты, а может, и дальше. Пулеметный огонь был такой, что головы из траншеи не высунешь и попробуй разбери в этом грохоте, откуда бьют. Со своих позиций или уже с нейтральной полосы? Неужели в наступление пошли, чтобы в Волхов, как обещали, скинуть?

Близкий разрыв снаряда оглушил, заставил вжаться в землю. Еще два рванули рядом. Потом еще и еще. В траншею полетели комья земли, грязи, забарабанили по спине. Лейтенант оказался в центре круга, куда по какой-то счастливой случайности пока не прилетал ни один снаряд, но какой-то из них мог, должен был рвануть здесь и разнести его в клочья. «Заколдованный» на время круг все сужался, и лейтенант едва сдерживал себя, чтобы не

убежать под прикрытие стен и накатов, но справился с охватившим его страхом и даже высунулся из траншеи, иначе зачем он здесь, в открытой ячейке? Он обязан первым увидеть наступающих и только тогда вывести своих бойцов из дзота. Лейтенант поднялся во весь рост, покрутил головой, но не мог рассмотреть даже солнца.

Оглушающий грохот вдруг словно бы надломился. Снаряды продолжали свистеть над головой и рваться позади, поднимали землю, кусты и деревья в небо справа и слева, а впереди и на линии обороны ни одного. Дым медленно рассеивался. Стало светлеть, и взору открылся его дзот с переломанными, разбросанными вокруг бревнами. Забыв обо всем на свете, бросился туда — может, живы? Снаряд угодил в переднюю стенку, остатки дзота отбросил назад, завалил ими траншею. Еще дальше, прижатый бревном, лежал Леонов. Пульс у него не прощупывался. Дзот пулеметчиков тоже был разбит, траншея до него наполовину разрушена.

Второй налет был мощнее первого. Снова все заволочло дымом, снова взрывы стали подступать к лейтенанту. И тут кстати вспомнились слова старшего сержанта Кузнецова: «В одно место снаряды два раза не падают, поэтому лучшее спасение от них в свежей воронке». Евдокимов так и поступил — перебежал в воронку правее дзота. Это спасло его еще раз. Когда кончился второй налет, на месте его ячейки зияла громадная, еще чадающая болотным паром воронка.

Чуть посветлело, и немцы пошли. Они шли в рост, не пригибаясь и не стреляя из автоматов, уверенные, что никого живого не могло остаться на этом дважды простреленном орудиями клочке земли. Их было не меньше роты. Лейтенант ахнул и сжал зубы — пропадать ему этим днем.

Вражеская цепь приближалась. По ней открыл огонь левый сосед. Неожиданно еще левее заработал трофейный МГ-34 — кто-то спешил на помощь и стрелял длинными, захлебывающими очередями.

Цепь дрогнула, разорвалась, но, подгоняемая криками офицеров, стремясь быстрее выйти из-под фланкирующего огня, рванулась вперед. Евдокимов, экономя патроны, стрелял короткими прицельными очередями. Начал бить по врагу и Кузнецов. Цепь залегла.

— Вот так вам! Вот так! — приговаривал лейтенант, продолжая выбивать тех, кто пытался подняться.

Схватился за грудь и опрокинулся навзничь офицер. Рядом с ним ткнулся в землю связной или денщик, черт его знает, как у фрицев называются такие люди. Но и лейтенанта засек какой-то острый на глаз фашист. Засвистели над головой близкие пули, следующая очередь брызнула в лицо пригоршней земли. Только приподнял голову, зазвенела каска от разрывных.

Бросил гранату и под прикрытием ее взрыва перебежал в другую воронку.

Встретиться с четырьмя пулеметами немцы не ожидали, но и отступать не хотели. Залегли и вызвали огонь минометов, а мины без доброй крыши над головой пострашнее снарядов — падают густо, осколки по земле стелются. Мины и в воронке достать могут. Лейтенант опустился вниз, где уже начала копиться вода, саперной лопаткой вырыл углубление, вдавился в него спиной, подобрал ноги, ступни укрыл комом земли. Больше для своего спасения он ничего сделать не мог. Тут уж как повезет. И ему повезло третий раз за день. Осколки залетали в воронку, шипели, попадая в воду, но ни один не задел его.

Еще три раза поднимались немцы в атаки, кое-кому удалось даже достигнуть полуразрушенных траншей, но смельчаков выбивали с захваченного рубежа, постоянно меняя позиции, пулеметным огнем да гранатами Евдокимов и Кузнецов, на нейтральной полосе не давали поднять головы пулеметы соседей, а когда на помощь пришла полковая артиллерия, прорвались сквозь заградительный огонь врага свои разведчики, фашисты бежали, оставив на поле боя свыше шестидесяти трупов...

В конце октября деревенская почтальонка, пряча глаза от Марии Ильиничны Евдокимовой, протянула ей письмо. В конверте! Номер полевой почты 5781 был Ванюшкин, а адрес написан чужой рукой. И защемило в предчувствии беды материнское сердце.

— Что в нем? — спросила почтальонку не своим, вдруг осевшим голосом, разорвала конверт торопливыми руками, стала читать четкие, отпечатанные на машинке строчки:

«Уважаемая Мария Ильинична!

Ваш сын, Евдокимов Иван Васильевич, находясь на фронте борьбы против германского фашизма во вверенном мне полку, проявил себя стойким и мужественным, беспредельно преданным партии Ленина — Сталина и социалистической Родине воином Красной Армии. Участвуя в отражении вражеских атак, Ваш сын проявляет мужество и героизм, своим личным примером воодушевляет бойцов на выполнение поставленных задач и, как смелый и мужественный командир, пользуется любовью и уважением среди личного состава полка...»

Прочитала вслух, и задохнулась от счастья, и, еще не до конца веря этому, все еще ожидая самого худшего — вон сколько похоронок пришло в Вельяминово с фронта, — впилась глазами в конец письма — если что плохое, то там.

«Вам, русской женщине, за воспитание такого храброго воина от командования полка большое спасибо!

Вы можете быть спокойной за своего сына, можете честно и добросовестно трудиться на благо Родины и знать, что Ваш труд, Ваш отдых крепко охраняют бойцы Красной Армии, в первых рядах которой находится Ваш сын Евдокимов И. В.

Командир 299 сп
подполковник Петров

9 октября 1942 г.»

Подняла голову, схватила за рукав почтальонку:

— Да подожди ты, быстроногая! Какой человек-то, а? Какой человек — Ванюшкин-то командир! Нашел время. Сам написал! Ой, побегу — своих надо порадовать. А Ванюшка-то мой цел, выходит. Цел! О нем как о живом пишут.

А в тот самый день, вернее, вечер, когда отогнали фашистов, Евдокимов не узнал старшего сержанта Кузнецова — до того был тот худ, черен, до того неуверенно держался на ногах. И Кузнецов не узнал своего лейтенанта — тот выглядел не лучше. Поразглядывали друг друга, обнялись и, не сговариваясь, выдохнули:

— Пи-и-ить!

Припали растрескавшимся за день губами к фляжкам и не могли оторваться от них, пока не выцедили до последней капли воды.

Представления о наградах командир полка сделал незамедлительно, но Марии Ильиничне об этом не написал — вдруг не пройдут. Прошли. Лейтенант Евдокимов и старший сержант Кузнецов за этот бой были удостоены орденов Красного Знамени!

Комбат Иван Васильевич Евдокимов пришел в себя утром. Прислушиваясь к острой, пронзительной боли в правом плече, возвращаясь к жизни, скосил глаза на повязку и стянул простыню с правой руки. Рука была цела, но капитан ее не чувствовал. Даже не мог согнуть пальцы. Перебит где-то нерв... И на том спасибо! Могло быть хуже, а руку ампутировать он не даст. Не даст! Осторожно потянулся — разорванное плечо откликнулось на движение новой, все нарастающей болью. Капитан закрыл глаза.

После форсирования неширокой, но быстрой и глубокой пограничной реки Утроя дивизия преследовала

отступающего противника на латвийской земле, то и дело вступая с ним в скоропалительные схватки.

Вчера он шел со своим вторым батальоном впереди дивизии. В указанном командиром полка месте, на опушке рощи, остановил батальон на кратковременный отдых, а впереди, в каких-то пятистах метрах, дозорные обнаружили большое скопление противника и даже два танка. Силы были явно неравные, но фашисты не ожидали столь скорого появления здесь русских и вели себя беспечно. Танкисты даже загорали на броне своих машин.

О сложившейся обстановке он доложил по радио командиру полка. Встреча с немцами была неожиданной и для него.

Полковник Слесаренко приказал:

— Пока в бой не ввязываетесь.

Ждать под носом у противника, когда даже покурить нельзя, пришлось долго и слушать, без конца слушать немецкие голоса, стук топоров, визжание пил. Нелегкий выдался денек.

Приказ выбить противника из хуторов и рощи пришел вечером. Это помогло скрытно выйти к шоссе и обрушиться на немцев внезапно. Танки не успели сделать и выстрела. Четвертая рота быстро овладела рощей, пятая очистила от врага овраг, шестая ворвалась в правый хутор. Однако, как всегда, немцы пришли в себя быстро, подбросили свежие силы и стали теснить четвертую роту. Судя по вспышкам, бой там покатился в обратную сторону.

Он развернул пятую роту, уже подходившую к хутору, для флангового удара по роще и сам побежал в цепи атакующих. Прямо на него плеснуло пламя, вырвавшееся из недалекого пулеметного ствола. Его сильно, будто кувалдой, ударило в плечо, бросило на землю. Больше он ничего не помнил, не знал, что с его батальоном, как закончился бой и закончился ли.

Осторожно повернул голову — нет ли в палате своих? Не увидел. Плечо, казалось, поджаривают паяльной лампой. Порой чудилось, что десятки пчел впились в него, поэтому плечо и разбухает на глазах, впиваясь в повязку. Он знал, что боль будет держаться долго и надо к этому привыкать, приучать себя к мысли, что так и должно быть и надо терпеть, тер-пе-еть, а разорванная живая ткань, обнаженные нервы молили о помощи, кровоточили, пульсировали, будто кто-то методично отщипывал от плеча маленькие кусочки.

Два года назад, в первые его окопные дни, бойцы рассказывали фронтовое поверие:

— Бойтесь первой пули, товарищ лейтенант, потом четвертой и седьмой. Остальные — ерунда.

— Как это? — не понял он.

— На фронт страшно идти первый раз. Чувствуешь себя слепым кутенком, которого и ненароком раздавить могут. Новенькие, между прочим, чаще всего и гибнут. А если первая пуля и осколок только поцелуют, то до четвертого ранения можно жить спокойно — редко кого в это время убивает. Пронесет на четвертый, еще два раза может ранить, а убить должно на седьмой раз. Не знаем почему, но так чаще всего получается.

Позднее не раз приходилось слышать то же самое. Примеры приводили, о себе рассказывали, о том, как трудно возвращаться на передовую после третьего или шестого ранений.

— Вперед топаешь, а сердце назад рвется, как на казнь идешь.

Какое по счету ранение у него? Летом сорок второго года по каске ударили сразу три разрывные пули. Обычные — пробили бы тонкую сталь. Пройдись та очередь чуть пониже, задень какая-нибудь пуля гимнастерку, тоже неизвестно, чем бы дело кончилось. Разрывные — они страшные, раны наносят большие. Повезло ему тогда.

В марте сорок третьего, уже командиром роты был,

ранило осколком в спину. С поля боя вытаскивал ординарец. Неумело тащил, как-то боком, обхватив руками грудь. Дышать было нечем, казалось, что вот-вот задохнется и умрет не от осколка, еще неизвестно что натворившего, а от недостатка воздуха, но он из последних сил помогал своему спасителю, отталкиваясь от земли ногами. Так и добрались до санитарной роты.

Следующее ранение получил в январе сорок четвертого, когда освобождали Новгород. Батальоны полка вышли на шоссе Шимск — Новгород и оседлали его, отрезав пути отхода в этом направлении. Его рота оказалась на правом фланге, он лежал в цепи первым от города, а от деревни Воробейка пыталась прорваться к городу легковая машина «БМВ» шоколадного цвета. По ней начали бить, едва она выскочила из деревни, и он был последним, кто мог остановить ее, а остановить надо — наверняка офицер или несколько офицеров решились на такой отчаянный шаг. Бросил гранату. Машина крутанулась на дороге и встала. Шофер и сидящий рядом с ним офицер в кожаном коричневом пальто с меховым воротником признаков жизни не подавали. Он побежал к «безмвушке», чтобы забрать документы, рванул дверцу. Офицерский автомат ожил, дернулся снизу вверх: одна пуля — в пятку, другая — в бедро, третья — в лицо. В мозгу полыхнуло фронтовое поверие. И протест: «Вранье все! Второе же ранение, пусть третье, и уже конец?!» Он повалился на стрелявшего и, теряя сознание, вцепился в него зубами. Его вытащили, спасли, даже Красной Звездочкой наградили, и он снова вернулся на фронт. Выходит, правильно говорили солдаты.

Июльское солнце поднялось высоко, и в палате стало душно. Морщась от боли, он сдвинул простыню вниз. Рана продолжала кровоточить. На бурое пятно повязки набросились мухи — до крови они жадные, чуют ее издали. Мухи ползали по лицу, лезли в глаза, в рот, и он не мог их отогнать. А в голове бились мысли, свивались в

клубки, растекались в стороны. Но о чем бы ни думал, он все еще жил вчерашним боем. Когда приносили новеньких, тянул шею: не свои ли, нельзя ли узнать, большие ли потери в батальоне, кто остался живым, кого назначили вместо него. Но свои не поступали, узнать что-либо было не у кого. О родном своем доме вспомнил, спохватился: надо сегодня же попросить кого-нибудь написать письмо, сообщить, что жив, здоров, легко ранен. Много будут значить для отца с матерью и сестренки эти слова. Легко ранен — значит, два-три месяца за него могут быть спокойны. О брате Пете только станут волноваться. Недавно письмо от него получил — жив, здоров, командир роты, скоро тоже капитана присвоят...

Они были первенцами в семье крестьянина большой подмосковной деревни Вельяминово Василия Ивановича Евдокимова. Время было несытное, и потому близнецы родились такими хиленькими, что и посмотреть не на что. Однако к пятому классу догнали сверстников, а в седьмом, на удивление всей деревне, стали богатырями-муромцами, связываться с которыми опасались даже парни постарше. Получилось так, наверно, потому, что с малых лет не были ленивыми. Матери, отцу ли, как старшие в семье, наперегонки помочь бросались. На сенокос выезжали с радостью. Едва машины на току заработают, братья тут как тут и сразу работу себе находят. Приехали в деревню топографы — к ним в помощники напросились, два лета в партии отработали, между делом карту читать научились, по азимуту ходить, на местности без всякого компаса ориентироваться.

Ивану четырнадцать исполнилось, а председатель колхоза заговорил с ним о том, чтобы поработал в половодье перевозчиком. Заговорил и сам же испугался: мальчонка еще, случись беда, не с него, а с главы колхоза стружку снимать будут. Спросил с сомнением в голосе: — А ты, Ваня, сам-то как думаешь? Справишься?

«Мальчонка» поднял на него удивленные глаза:

— А чего там? Только мне весел не надо.

Тут председатель удивился:

— Руками, что ли, грести будешь?

Тот вздернул нос-пуговку:

— Я к деревянной лопате привык. Она здорово загребают.

— Вот как? А ну пойдем — попробуем.

Лодка шла ходко, управлял парнишка ею умело, обильной воды и волн не боялся, и больше у председателя о перевозе голова не болела.

А что было Ивану бояться воды, если сызмала речка Истра была перед глазами, до нее добраться — только с берега скатиться. Купайся сколько душевненьке угодно. Он и плавал летом до одури, а осенью — чуть не до первого снега. Не из-за бахвальства и не ради закалки, а потому что моряком мечтал стать. Встанет на Истре лед, лучшего катка во всей округе не найти. Весной же, когда лед тронется, до чего же весело и жутко кататься на льдинах. Случалось, что в промоины попадал, со льдин в воду, как с горки, скатывался. Это когда они сталкивались друг с другом и вставали на дыбки, как необъезженные кони. И никогда не болел после такого купания. Отцом, правда, был бит, но без этого разве вырастешь?

В палату вошла сестра, громко и требовательно спросила:

— Комбат Евдокимов из сто пятьдесят седьмого гвардейского здесь лежит?

— Здесь, — отозвался он.

— К вам командир полка прибыл! Приготовьтесь!

Полковник Слесаренко вошел в сопровождении военврача, женщины. Окинул взглядом палату и направился к носилкам капитана.

— Ну, здравствуй, Евдокимов! Как чувствуешь себя?

— Хорошо, товарищ гвардии полковник.

Командир полка хмыкнул, но возражать не стал:

— Рад, что живым вижу и врачи тебе жизнь гарантируют. Поправишься — возвращайся в полк.

— Спасибо, товарищ гвардии полковник! А как батальон?

— Твой батальон такую брешь пробил, что вся дивизия в нее устремилась, а немцы из Балв уже на запад посматривают.

Женщина-врач подошла к носилкам, поставила под левую руку, чтобы можно было дотянуться, кружку, доверху наполненную черникой:

— Это вам для скорейшего выздоровления.

— Спасибо! — пробормотал Евдокимов. Глаза его предательски заблестели — и неожиданный приход командира полка тронул, и подарок врача.

— Не могу больше задерживаться, комбат, — словно извиняясь, сказал полковник. — Поправляйся.

На улице сказал хирургу:

— Вчера утром был здоров как бык, вечером вот этот хутор брал...

— И отличился?

— Еще как! К ордену Александра Невского представлять буду. С комдивом вопрос уже решен. Хороший парень этот Евдокимов!

Врач удивилась:

— Парень? Сколько же ему лет?

— Пацан еще — капитану Ивану Васильевичу Евдокимову в апреле двадцать один годок стукнул.

А комбат Евдокимов тем временем дотянулся до кружки, ухватил горсть ягод. Почувствовал, как свежи и холодны они, зажмурился от удовольствия, и показалось ему, что боль, донимавшая все утро, стала стихать.

Кодочигов П. Е.

К 55 **Так и было: Повесть, рассказы.— Свердловск:**
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990.— 256 с., илл.

ISBN 5—7529—0300—9

В пер.: 60 к. 75 000 экз.

Новая книга свердловского прозаика построена на реальных событиях, в ней сохранены подлинные имена и фамилии. Только безоглядная вера в победу помогает четырнадцатилетнему Гришке Иванову и другим героям книги стойко выдержать все испытания в смертельной схватке с врагом.

К **4803010201-033**
М 158(03)-90 **57-90**

ББК 84Р7

Содержание

Так и было. *Документальная повесть* 3

Вот и вся война... *Рассказ* 207

Тихая оборона. *Рассказ* 231

Павел Ефимович
Кодочигов

ТАК И БЫЛО

Редактор С. В. Марченко

Художник А. В. Мохин

Художественный редактор М. М. Кошелева

Технический редактор И. Ш. Трушникова

Корректоры И. А. Тарская, М. А. Казанцева

ИБ № 1953

Сдано в набор 07.08.89. Подписано в печать 13.03.90. НС 12031.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,2. Усл. кр.-отт. 11,8. Уч.-изд. л. 11,5.

Тираж 75 000. Заказ 455. Цена 60 коп.

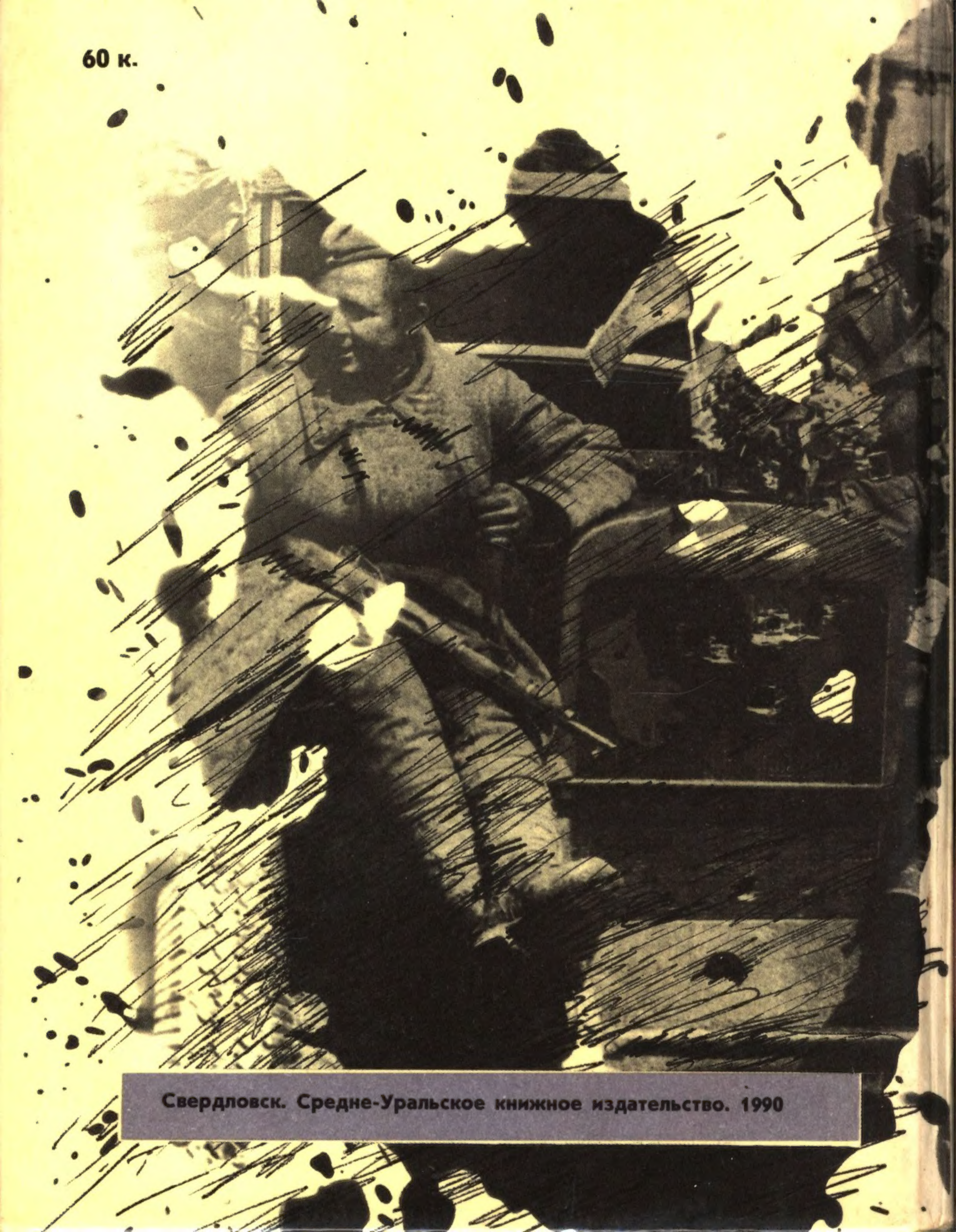
Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.







60 к.



Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1990

Павел Кодочгов

Так и было.